С. АРТАМОНОВ

Франсуа Рабле

В книге С. Артамонова рассказывается о Франции эпохи Возрождения, о французских гуманистах и о самом замечательном писателе-гуманисте XVI века— Франсуа Рабле. Автор раскрывает содержание великого романа Рабле „Гаргантюа и Пантагрюэль", показывая, как в этом романе решаются актуальные для своего времени политические, религиозные, правовые вопросы и такая центральная для гуманистической мысли проблема, как воспитание многогранной цельной человеческой личности.

С. АРТАМОНОВ

ФРАНСУА РАБЛЕ

Массовая
историко-
литературная
библиотека

С. АРТАМОНОВ

ФРАНСУА РАБЛЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Москва 1964

8 И
А 86

Оформление художника
Л. СУШИЛИНОЙ

КНИГА ЧУДЕС

Книга в своем роде единственная, равных себе не имеющая и беспримерная.

Франсуа Рабле

Жили-были король-великан Грангузье и его супруга, тоже великанша, Гаргамелла. Жили они счастливо, много ели и много пили. Так много, что на их пропитание шло сотни и тысячи коров, поросят, баранов и всякой живности. Со всего королевства везли им провизию, ведь они короли,— значит, и стол у них должен быть королевским. К тому же у каждого члена королевского дома был преогромный рот. Короли-великаны вместе с салатом могли проглотить и кого-либо из своих подданных, как это случилось однажды с наследным принцем, отправившим себе в рот шесть паломников, притаившихся за капустными листьями. Правда, паломникам удалось спастись, но страху они натерпелись немало.

Событием в жизни Грангузье и Гаргамеллы было рождение сына Гаргантюа, того самого, который потом чуть было не проглотил шесть

благочестивых паломников. Гаргамелла объелась потрохами, «она съела этих самых кишок шестнадцать бочек, два бочонка и шесть горшков» и в таком своем недуге разрешилась от бремени.

Королевский сын, как и полагается королевским сынам, появился на свет необычным способом, он вылез из левого уха своей родительницы. Автор по этому поводу вступает в серьезный разговор со своим читателем:

«Разве тут что-нибудь находится в противоречии с нашими законами, с нашей верой, со здравым смыслом, со Священным писанием? Я по крайней мере держусь того мнения, что это ни в чем не противоречит Библии. Ведь если была на то воля божья, вы же не станете утверждать, что господь не мог так сделать? Нет уж, пожалуйста, не обмораживайте себя праздными мыслями. Ведь для бога нет ничего невозможного, и если бы он только захотел, то все женщины производили бы на свет детей через уши».

Итак, королевский сын родился. Но едва он появился на свет, как громогласно заревел: «Пить!» Это привело Грангузье (Большая глотка) в великий восторг. Сын явно обнаруживал наследственные черты. «Какая же она (глотка) у тебя здоровенная!» — воскликнул счастливый отец (кё-гран-тю-а). Так и назван был сын Гаргантюа.

Сказочная страна, в которой все это происходит, очевидно, Франция, потому что

живут в ней французы. Они «по природе своей жизнерадостны, простодушны, приветливы и всеми любимы». Судя по всему, королевство должно быть огромным. Но, присмотревшись повнимательнее, мы видим, что родина великанов — всего лишь маленькая область вокруг хуторка Ла Девиньер, который принадлежал отцу Рабле. Однако все здесь как в заправских больших королевствах — и города, и крепости, и монастыри, и войны.

Гаргантюа был в родителей велик ростом и отличался таким же непомерным аппетитом. Жил он в свое удовольствие, пил, ел, спал и делал все то, что делают дети в его возрасте. К нему был приставлен для науки ученый дядька схоласт, который обучал его латыни, но так, что королевское дитя год от года становилось глупее. Это в конце концов было замечено, и королевскому сыну дали другого учителя, ученого гуманиста, который применил совсем иной способ обучения и добился результатов замечательных. Гаргантюа вырос на диво разумным человеком.

По этому поводу автор вспоминает древнегреческого философа Платона, который мечтал о таком государстве, где короли были бы философами, а философы королями.

Добрейший Грангузье души не чаял в своем сыне и отправил его для обучения в Париж. Там юный принц учился и развлекался. Однажды он уселся на башни Собора богоматери. Этот неблагочестивый акт очень

подивил горожан. Потом принцу приглянулись колокола Собора, и он приспособил их в качестве погремушек на шею своей кобылы. Это произвело еще больший переполох. Для вызволения колоколов к принцу был отправлен магистр местного университета (Сорбонны), некий богослов, причесывавшийся под Юлия Цезаря (Юлий Цезарь, как известно, был лыс), «неказистый» и «грязнее грязи».

Богослов произнес блестящую «мухоморительную» речь в защиту колоколов, в которой между прочим сообщил, что, в случае благополучного завершения своей миссии, он, богослов, получит от Сорбонны «десять пядей сосисок и отличные штаны». «Ах! ах! — жаловался сорбоннист.— Не у всякого есть штаны, это я хорошо знаю по себе!»

Гаргантюа был растроган, и колокола были возвращены.

Так проходили дни юного Гаргантюа в Париже. Вскоре ему, однако, пришлось вернуться домой. Началась война. Поводом к ней послужила драка из-за лепешек.

Повод, как и во всех войнах, ничтожный, но последствия ужасные. На королевство напал со своим войском король-сосед — Пикрохол. Грангузье хотел было миром кончить распрю (он был неохотник до драк), но Пикрохол заупрямился, и война началась. В войне отличился монах по имени Жан. Монашеского в нем было мало, зато силушкой он обладал богатырской и так громил неприя-

теля, что получил прозвище Жана Зубодробителя. Пикрохол был побежден и лишился королевства. Одна старуха нагадала ему, что трон свой он вернет тогда, когда рак свистнет. И с той поры бывший король Пикрохол, всеми презираемый, жалкий и злой, выспрашивал у каждого, не слыхивал ли кто, как за морями да за долами свистнул рак.

Род великана Грангузье между тем здравствовал. Правда, сам Грангузье уже почил, но сын его, теперь король Гаргантюа, женатый на королеве Бадбек (это слово на гасконском диалекте означает «Разиня»), мирно управлял государством.

У Гаргантюа и Бадбек — сын Пантагрюэль, веселый, разумный и на редкость добродушный. Все было бы хорошо, но некий король Анарх возмечтал о мировом господстве и, как некогда Пикрохол, напал на королевство, которым правил Гаргантюа. Финал оказался и на этот раз для зачинщика плачевным. Анарх лишился трона и стал торговцем лука.

И снова в стране воцарился мир. Теперь в центре внимания принц Пантагрюэль и его друзья. Среди них Жан Зубодробитель, гуманист Понократ, озорник, но ученейший малый Панург и другие. Веселая, шумная и, надо сказать, умная компания. Панург задумал жениться. Женитьба — дело простое, но каково старому холостяку решиться? А для Панурга уже «полдень прошел». И вот

начались великие сомнения. А вдруг начнет изменять, а вдруг станет драться будущая супруга? Сомнения Панурга разделяет вся его компания. За советом обращаются и к ученым, и к знахарям, и к умным, и к дуракам. Нет убедительного ответа. Добрая компания решила в конце концов отправиться в далекое путешествие в неведомые страны к оракулу Божественной Бутылки.

Каких только диковин, каких чудищ не повидали они по пути! Наконец прибыли к Божественной Бутылке, но та вместо ответа издала особый звук, впрочем, такой, какой и может издавать бутылка: «Тринк!»

Странное, удивительное произведение! Оно живет уже пятое столетие. Интерес к нему не ослабевает. Что же в нем особенного? — Сказка. Вымысел. Фантазия. Шутки, прибаутки. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Огромный том. И автор — ученейший человек, доктор медицины Франсуа Рабле.

Французский историк Мишле восхищался им. «Рабле более велик, чем Аристофан и Вольтер. Так же велик, как Шекспир... Ни один из наших писателей не дал такой полной картины своего времени... Это энциклопедия. Вот почему Рабле превосходит даже Сервантеса».

Может быть, все дело в исторических намеках, важных для историка? Может быть, потому так восхищен историк Мишле?

Но о Рабле с неменьшим восторгом отзываются писатели, мастера слова, тончайшие художники. Вот что писал Флобер: «По-моему, высшее достижение в искусстве (и наиболее трудное) отнюдь не в том, чтобы вызвать смех или слезы, похоть или ужас, а в том, чтобы воздействовать тем же способом, что и природа, то есть вызвать мечты. Поэтому лучшие произведения с виду так безмятежны и так непостижимы в способах воздействия на нас. Они неподвижны, как скалы, неспокойны, как океан, полны листьев, зелени и шороха лесов, печальны, как пустыни, лазурны, как небо. Гомер, Рабле, Микеланджело, Шекспир, Гете мне кажутся беспощадными. Это что-то бездонное, бесконечное, многоликое. Сквозь маленькие просветы вы видите бездны — черные, головокружительные,— и вместе с тем что-то удивительно нежное витает надо всем! Это идеальный свет, улыбка солнца,— и такой покой, такой покой! А сколько силы!»

Рабле будто и не предполагал таких похвал. Он даже ждал противоположных мнений и уже заготовил ядовитый ответ своим хулителям: «Если вы мне скажете: «Почтеннейший автор! Должно полагать, вы не весьма умный человек, коль скоро предлагаете нашему вниманию потешные эти враки и нелепицы», то я вам отвечу, что вы умны как раз настолько, чтобы получать от них удовольствие».

Книга Рабле родилась в народе. Первоначально это было маленькое зернышко. Рабле взрастил его, и оно превратилось в могучее дерево, ветвями своими коснулось неба, а корнями ушло в недра земные.

Сбросим со счетов времени четыреста тридцать два года и окажемся в Лионе, том самом «ученом городе», которым так гордились французы.

Места живописнейшие: Рона и Сона омывают его набережные. Контуры холмов прочерчивают волнистую линию горизонта. Бесчисленные церкви, одна древнее другой, вонзают в небо свои готические шпили.

Сейчас старая часть города нравится, пожалуй, только туристам (здесь мрачновато: улицы так узки, что, думается, не разойтись и двум встречным пешеходам, дома так черны, что, кажется, дым, копоть и пыль столетий пропитали насквозь их массивную каменную кладку, а город так древен, что историки не находят даты его рождения). Тогда же, в XVI столетии, точнее в 1532 году, когда сюда прибыл тридцативосьмилетний Франсуа Рабле, только что получивший в Монпелье ученую степень бакалавра медицины, тогда эта ныне «старая часть» выглядела очень внушительно.

Лион XVI столетия. Жизнь здесь бьет ключом. Четыре раза в год устраиваются ярмарки. Со всех концов Европы съезжаются купцы. Ткани, меха, ковры, различные виды

оружия и лионский шелк — все можно здесь приобрести за деньги. В дни ярмарок в ходу монеты всех стран.

На улицах голландская, немецкая, итальянская, испанская, английская речь. Здесь люди различных религиозных убеждений, но не спорят о религии, а мирно совершают коммерческие сделки. Здесь царит дух терпимости и либерализма, и лионцы стоят на страже своих свобод. Сюда охотно съезжаются ученые люди всей Европы. Их привлекают типографии. Издательское дело в Лионе поставлено на широкую ногу. В Европе известны имена трех крупнейших лионских издателей— Себастьяна Грифа, Франсуа Жюста, Клода Нури. Эти три дельца печатают, конечно, и ученые сочинения, но прежде всего то, что в дни ярмарок пользуется широким спросом,— гороскопы (к ним средневековье питало особое пристрастие), различные толкователи снов, альманахи назидательных историй, поучений. Шумно и бойко идет торговля книгами.

Но что это? Уличные торговцы, громко зазывая покупателей, предлагают маленькую книжицу под неотразимым названием:

«Великие и бесценные хроники великого и преогромного гиганта Гаргантюа, содержащие рассказы о его родословной, величине и силе его тела, также диковинных подвигах, кои совершены за короля Артура, его господина».

Сохранилось каким-то чудом два экзем-

пляра этой книжицы. Вы благоговейно берете в руки тоненькую брошюрку, которая прожила больше вас примерно на четыре века. Ей четыреста тридцать два года (год издания 1532). Жирно отпечатанный непривычный готический шрифт, или, вернее, латинский, но расписанный под готический; литеры с точками, перекладинами, закорючками. Красная строка выделяется причудливой заставкой, первая буква переплетена цветами, заиндевевшими веточками и тонкими травинками. На обложке мужичок с бородкой клинышком. Опираясь на посох, он широко шагает по распаханным полям. Вид у него миролюбивый. На последней странице приписка: «Здесь кончаются хроники великого и могучего гиганта Гаргантюа». Дважды сообщается, что хроники «отпечатаны заново», значит, были другие, подобные же.

Открываем первую страницу. На нас нисходит далекая старина, наивная и легковерная, ищущая сильных ощущений в сказке.

«Как во времена доброго короля Артура жил-был великий волшебник Мерлин». Король Артур! Мерлин! Это герои рыцарских романов. Изобретательная фантазия средневековых поэтов создала огромное множество таких романов. В них прекрасные дамы и верные рыцари, фантастические замки и волшебники, добрые феи и злые демоны, и изъясняются они так изысканно, что крестьянину или ремесленнику слыхивать

подобных речей не приходилось. Рыцарские романы писались для обитателей замков. Крестьянин и горожанин читали иные книги — развеселую поэму о похождениях хитрого Лиса (Ренара) или грубоватые, но смешные и потешные истории — фабльо.

Читая «Хроники» о преогромном гиганте Гаргантюа, мы замечаем, что хоть в них и названы король Артур и волшебник Мерлин, однако по духу своему эти хроники совсем не похожи на рыцарский роман. Они изрядно грубоваты, да, пожалуй, и примитивны по способу изложения.

Грангузье, Галемель, Гаргантюа перекочевали из этой нехитрой народной сказки в философский роман Рабле.

Можно предположить, что издатель предложил Рабле просмотреть эти «Хроники» и подготовить к печати. Рабле, взявшись за работу ради заработка, увлекся и, оттолкнувшись от незамысловатой истории о гиганте Гаргантюа, задумал свое собственное произведение.

Лионские издатели просили Рабле сделать еще что-либо для книжного рынка — какой-нибудь гороскоп, толкователь снов или что-нибудь подобное. Рабле написал «Пантагрюэлистическое пророчество». Оно вышло анонимно, но в авторстве сомнений быть не может. Это истинный Рабле, насмешливый и веселый, не верящий ни в бога, ни в черта и, конечно, ни в каких оракулов.

«В этом году слепые не прозреют, глухие не прослышат, немые не заговорят, богачи заживут лучше бедняков, а здоровые лучше больных... Зато перемрет столько попов, что некому будет раздавать бенефиции и кое-кто схлопочет себе по две, по три, по четыре, а то и поболее сразу... Я предоставлю другим глупым гадателям заниматься королями и богатеями, сам же я буду говорить о простолюдинах».

И далее следуют насмешки и шутки над «величием» королей, подобные тем, которые мы услышим потом, через семьдесят лет из уст шекспировского Гамлета.

«Звезды так же мало заботятся о королях, как и о прощелыгах».

«На ноевом ковчеге Трибуле (шут короля Людовика XII.— *С. А.*) числился из рода кастильских королей, а Кайетт (шут Франциска I.— *С. А.*) от крови царя Приама».

«Пантагрюэлистическое пророчество» несколько раз печатал в Лионе издатель Франсуа Жюст, оно публиковалось одновременно и в Париже. Интерес к нему был большой.

В 1532 году в Лионе Рабле начал печатать свой роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Теперь он уже до самой смерти будет прикован к нему. Это книга всей его жизни, как «Божественная комедия» для Данте, «Фауст» для Гете. Но кто же он, Франсуа Рабле, автор «книги в своем роде единственной, равных себе не имеющей и беспримерной»?

ИСКАТЕЛЬ МУДРОСТИ

Если вы взглянете на фронтиспис некоторых изданий сочинений Рабле, то увидите лицо человека, блаженно улыбающегося, с полузакрытыми глазами, с полуоткрытым ртом, будто напевающего какую-то веселую песенку, в состоянии сладостного опьянения, как античный Силен среди виноградных лоз. Таким хотели представить Рабле некоторые его издатели. Весела его книга — значит, весел он сам — весел и благодушен.

Писателей часто роднят, а то и вовсе отождествляют с героями их книг. Анатолю Франсуа было тридцать семь лет, когда он создал свой роман «Преступление Сильвестра Боннара», но читатели представили себе автора чудаковатым стариком с «доброй сутулой спиной», каким был полюбившийся им герой знаменитого романа. Подобное произошло и с Рабле. Его герои любят изрядные трапезы, не гнушаются доброй чаркой вина. Иногда они прямо злоупотребляют чревоугодием. Ну, значит, таков и сам автор,

решили читатели. Рабле не протестовал. Он смеялся. Ему было весело потешаться над простодушием читателя.

Знаменитый поэт XVI столетия Пьер Ронсар, писавший изысканные стихи, посвятил Рабле, когда тот умер, нижеследующий поэтический некролог:

Бывало, солнце не взойдет,
А уж покойный встал и пьет.
Бывало, ночь в окно глядится,
А он все пьет и не ложится.
Воспеты были им умело
Кобыла сына Гаргамеллы,
Дубина, коей дрался он,
Шутник Панург, Эпистемон,
Боец и ада посетитель,
Брат Жан, лихой зубодробитель,
И папоманская страна.
О путник, с легкою душою,
Закусывая ветчиною,
Бочонок доброго вина
Над гробом сим распей сполна.

(Перевод Ю. Корнеева)

Может быть, это была шутка Ронсара в духе самого Рабле (так по крайней мере полагает Анатоль Франс). Но вот скромный пуатевенский врач Пьер Буланже латинскими стихами сказал, думается, то, что должен был сказать о писателе проницательный современник: «Дело потомков допытываться, что это был за человек. Мы же его знали, понимали, и он был нам дорог как никто. Потомки, может быть, подумают, что он был

шутом, скоморохом... Напрасно. Он не был ни тем, ни другим. Обладая умом глубоким и редким, он высмеивал род людской, его безрассудные прихоти и тщету его надежд...»

В 1601 году, то есть спустя полвека после смерти Рабле, в Париже вышло собрание «Портретов многих знаменитых людей, живших во Франции с 1500 года по настоящее время». Под номером девяносто девятым помещался портрет Франсуа Рабле в разделе «знаменитых врачей». Этот портрет приписывается Томасу де Ле, известному граверу и рисовальщику, сделавшему множество портретов коронованных особ Франции конца XVI—начала XVII столетия. Томас де Ле никогда Рабле не видел, он родился в 1570 году, то есть уже после смерти писателя. Значит, его гравюра сделана с какого-то не известного нам оригинала. С этой гравюры было уже позднее сделано несколько копий.

Худое, несколько скорбное лицо. Прядь седых волос, выбивающаяся из-под широкополого мягкого берета, какие носили в то время университетские профессора. Профессорская мантия. Отороченный мехом воротник. Длинная худая шея. Редкая борода, широкий лоб. Большие глаза. В них много света. Люди с такими глазами привлекательны.

Но в портрете нет того, чего мы ждали, что искали в нем — «пантагрюэлизма», того доброго расположения духа, той безудержной, беззаботной веселости, какой полным-

полна книга великого Рабле, его всемирно известный, несравненный и бесценный роман «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Улыбка Рабле печальна. Перед нами скорее поэт, чем шут и насмешник, натура утонченная, артистическая, а между тем перо этого человека создало галерею королей-великанов, хохочущих во все горло, объедающихся и отправляющих свои естественные надобности с самой благодушной и самой наивной беззастенчивостью у нас на глазах.

Глядя на худое лицо Рабле, невольно думаешь о том, что счастье не очень баловало его, что он никогда не обладал большими материальными благами, и если столы его героев ломились от яств, то сам он нередко довольствовался куском изрядно зачерствевшего хлеба и кружкой дешевого вина, а вино на его родине так же дешево и так же доступно, как в нашей стороне хлебный квас.

О жизни Рабле много легенд, забавных анекдотов и ничтожно мало достоверных сведений.

В сборнике эпитафий церкви св. Павла в Париже (сборник составлен в XVIII веке) сказано, что Рабле умер 9 апреля 1553 года в возрасте семидесяти лет и похоронен на кладбище этой церкви. Дата смерти не вызывает сомнений, дата рождения требует подтверждений. Никаких прямых указаний на этот счет нет, а косвенные противоречат церковной записи.

Сохранилось письмо Рабле к Гийому Бюде, крупнейшему ученому-эллинисту. Письмо датировано 1521 годом. В нем Рабле называет себя adolescens (юношей). Древние римляне этим словом называли человека в возрасте от пятнадцати до двадцати восьми — тридцати лет, что, конечно, было известно Рабле. Вряд ли он назвал бы себя юношей в тридцативосьмилетнем возрасте. Отсюда вывод: церковная запись неверна.

Считают, что Рабле родился в 1494 году, и, значит, в момент смерти ему было около шестидесяти лет.

В древних списках сотрудников медицинского факультета университета в Монпелье против его имени обозначено: «Шинонец из Турени». И только.

Действительно, Рабле родился в Турени, самой благодатной, самой цветущей части страны, в долине реки Луары, в маленьком городке Шиноне, который и поныне так же мал, как и был во времена Рабле. Герой книги Рабле Панург сообщает о себе: «Я родился и вырос в зеленом саду Франции, то есть в Турени». Родина мила сердцу писателя. Нет-нет и вспомнит он о ней на страницах своего романа.

Маленькие кривые улички. Островерхие черепичные крыши. Церквушки. Развалины древней крепостной стены. Развалины древнего замка Плантагенетов и Валуа. Здесь почти всегда безоблачное небо, тучные вино-

градники, аромат садов и на базарной площади бочонки с вином и лукавая шутка, и острое словцо, от которого добрая молодка краснеет и отворачивается. Часто можно встретить монахов из различных орденов, а в средневековой Франции их было видимо-невидимо. Таков был Шинон, когда по его улицам бегал маленький сорванец по имени Франсуа, с насмешливыми, все примечавшими глазами, тот самый, что станет потом искусным врачом, самым сильным эрудитом Франции и самым знаменитым писателем XVI столетия.

Кем был отец Рабле? Легенда говорит разное — содержателем кабачка, аптекарем. Большинство французских ученых сходится на том, что Антуан Рабле, отец писателя, был местным адвокатом, владевшим недалеко от Шинона в Ла Девиньере загородным домиком, в котором и родился автор «Гаргантюа и Пантагрюэля». В книге мы не раз встретимся с наименованием Ла Девиньера. Хуторок был дорог писателю по детским воспоминаниям. В конце XVII столетия домик, где он родился, видел один путешественник-археолог. Это был последний очевидец. Ныне никаких следов от пребывания когда-то в тех местах великого писателя не осталось.

Известно, что мать его умерла рано. С десятилетнего возраста начались скитания будущего писателя по монастырям. Сначала францисканский монастырь Сейи, потом мо-

настырь де ля Бомет, потом кордельерское аббатство Фонтене-лё-Конт.

В последнем он постригся в монахи в возрасте двадцати пяти лет. Этот акт трудно объяснить. Неукротимый бунтарь, неукротимый жизнелюб, собрат Эпикура и Лукиана одел на себя монашескую сутану в самую цветущую пору своей жизни.

Может быть, Рабле нравилось монашеское одеяние — скромное, строгое, долженствующее внушать уважение? Раскроем его книгу. Что сказано в этой энциклопедии французской жизни XVI столетия о монашеской рясе?

В главе XXXIX первой книги приведен колоритный разговор Гимнаста и брата Жана:

«— Ряса давит вам плечи, снимите ее!

— Друг мой,— сказал монах,— пусть она останется на мне,— ей-богу, мне в ней лучше пьется, от нее телу веселей. Ежели я ее скину, господа пажи наделают из нее подвязок, как это уже однажды со мной случилось в Кулене».

В рясе лучше пьется! А ведь церковь призывает к воздержанию и посту. — Из рясы пажи наделают себе подвязок! — Подвязки из рясы! Нет, для Рабле монашеское одеяние отнюдь не лучшее одеяние в мире.

Может быть, на решение Рабле повлияло особое пристрастие к монастырям и монахам?

В главе LII той же книги найдем ответ и на этот вопрос: «...В наше время идут в

монастырь из женщин одни только кривоглазые, хромые, горбатые, уродливые, нескладные, помешанные, слабоумные, порченые и поврежденные, а из мужчин — сопливые, худородные, придурковатые, лишние рты...»

В главе XL о монастырях и монахах он отзывается совсем уж непочтительно: «...Монахи пожирают людские отбросы, то есть грехи, и, как дермоедам, им отводят места уединенные, а именно монастыри и аббатства, так же обособленно от внешнего мира, как отхожие места от жилых помещений».

Нет, писатель явно не питал пристрастия к монастырю и монахам. И все-таки он принял постриг. Очевидно, это была жертва веку, своему времени,— чисто внешняя, формальная уступка. Рабле остался самим собой, нисколько не изменив в угоду церкви ни взглядов своих, ни даже образа жизни. Как бы отвечая на наш вопрос, Рабле лукаво замечает нам: «Вы же сами говорите, что монаха узнают не по одежде, что иной, мол, и одет монахом, а сам-то совсем не монах».

Одно обстоятельство могло повлиять на решение Рабле — монастырские кельи в те времена благоприятствовали ученым занятиям. Правда, и там, как увидим, он не нашел покоя. А для Рабле ученые занятия — самый вожделенный труд, радость, счастье, самая сильная страсть.

«...Когда бы мудрость и наука приняли телесные, зримые очертания, то весь мир был

бы повергнут в полное смятение, ибо достаточно слуху об этом распространиться и дойти до тех пытливых и любознательных умов, которые именуются философами, чтобы они мгновенно лишились сна и покоя,— так неодолимо влечет и тянет их к человеку, в коем наука воздвигла свой храм и чьими устами она глаголет».

Это исповедь молодого Рабле, его нравственный портрет. Пытливый, любознательный ум, не знающий ни сна, ни покоя в неодолимой тяге к науке! Два молодых человека — Франсуа Рабле и его друг Пьер Ами — предаются в монастыре изучению греческого языка, латыни, читают древних авторов. Сколько увлечения, сколько страсти вкладывают они в свои занятия! Как досадно отрывает их от радостного труда монастырский колокол, возвещающий о неукоснительном исполнении монастырских обязанностей — молитв, служб. Рабле на всю жизнь сохранил это чувство досады, и церковные колокола, колокольный звон не раз в его книге станут объектом самой непочтительной насмешки. (Гаргантюа снимает колокола с парижской церкви и надевает их на шею своей кобыле в виде погремушек. Пантагрюэль ради потехи разъезжает по улицам Парижа и звонит в подобранный им колокол, отчего все вино в городе прокисает и т. д.)

Недолго Рабле и его друг Пьер Ами предавались в монастыре изучению греческих

книг. Нашелся монах-шпион, и по доносу его в кельях друзей произвели обыск со всей тщательностью и пунктуальностью монастырского устава. Были найдены греческие книги, среди них «нечестивый Гомер», сочинения «великого грешника и богоотступника» Эразма Роттердамского. Все было конфисковано, у друзей была отнята бумага и наложена строжайшая епитимья.

Этот эпизод из жизни Рабле связан с общей обстановкой умственной жизни тогдашней Европы.

В 1523 году, незадолго до того, как монахи-кордельеры отобрали у двух друзей греческие книги, Эразм Роттердамский опубликовал в Германии строго научный труд — комментарий к греческому тексту Евангелия. Древнегреческий язык знали тогда в Европе единицы, Библию (а вторая часть ее — Новый Завет — была написана на древнегреческом) богословы знали только по плохому латинскому переводу (вульгата).

Кто из богословов мог вступить в научный спор с таким ученым автором, как Эразм Роттердамский? Такого богослова в Европе тогда не было. А между тем Эразм — глава европейских гуманистов XVI столетия, умнейший, ученейший человек эпохи — поднял на смех всю богословскую братию в своей знаменитой сатире «Похвала глупости» еще в 1509 году. Сорбонна (Парижский университет), где собрались отъявленные церковные

мракобесы, за неимением средств бороться против гуманизма, запретила заниматься изучением греческого языка вообще. Подальше от соблазнов! Вот тогда-то кордельерские монахи и обрушили кару на наших двух друзей. Пьер Ами, а он, очевидно, был старше Рабле и уже состоял в переписке с гуманистами, написал о случившемся Гийому Бюде. «Ах, как бы хотелось наказать этих настоятелей монастырей, которые под видом благочестия насаждают невежество! Понятно, последнее сочинение Эразма так ожесточило богословов против греческого языка. К счастью, они уже не имеют никакого веса при дворе. Отныне ничто не остановит возрождения наук!» — ответил Бюде. Тогда он еще имел основания для такого оптимизма. Франциск I благосклонно относился к своему ученому секретарю, поручал ему дипломатические миссии, учредил по его настоянию новый университет в Париже (Коллеж де Франс), где введено было изучение трех древних языков — греческого, латинского и древнееврейского, и вообще проявлял искренний интерес к культуре и просвещению. Позднее, как увидим, многое переменится во взглядах короля.

Итак, мирные занятия Рабле и его друга были прерваны.

Рабле стал хлопотать о переходе в другой монастырь. Это было не так легко сделать: требовалось специальное разрешение папы римского. Климент VII позволил Рабле пе-

рейти к бенедиктинцам, более терпимо относившимся к греческим книгам.

Однако как удалось безвестному иноку одного из многочисленных монастырей Франции пробиться с челобитной к самому наместнику бога на земле — римскому папе? Рабле завязал знакомство с настоятелем бенедиктинского аббатства епископом Жофруа д'Эстиссаком. Последний принадлежал к самой избранной французской знати. Он покровительствовал гуманистам, увлекался литературой, подражая в этом королю, и, конечно, не считался с постановлениями Сорбонны. Узнав о беде Франсуа Рабле, познакомившись с ним, он отгадал в молодом человеке незаурядные способности, обнаружил уже достаточно обширные познания. Епископ приставил Рабле к своему племяннику в качестве наставника, назначил его своим секретарем и похлопотал за него перед высочайшей церковной инстанцией — папой.

В монастыре бенедиктинцев Рабле провел несколько лет. Жизнь его теперь значительно отличалась от той, которую он вел прежде. Кончилось затворничество, скрашиваемое усидчивыми занятиями. Умный епископ не притеснял его монастырскими службами, предоставив ему свободу действий, и Рабле полной грудью вдохнул воздух своей Франции. Он вдоль и поперек исходил или исколесил, сопровождая д'Эстиссака, провинцию Пуату, где находился монастырь. Он знает

каждый ее уголок, все ее села и города. Более пятидесяти пуатевенских названий вошло в его роман. Он вспоминает о ней всегда с чувством радостного удивления: здесь он узнал жизнь, свою родину, свой народ. До сих пор он жил в мире тесном, слушал гнусавые причитания попов в церквах, «дилимбомканье» монастырских колоколов, видел перед собой монашеские сутаны и, ненавидя все это, с головой уходил в классическую античность, с упоением изучал греческий и латинский языки и переводил Геродота.

Последнее хоть и тешило душу, но было далеко от современности. Мир книжный! Теперь он наконец познал мир реальный, живую жизнь. Он с наслаждением толкается в рыночной толпе, слушает шутки и прибаутки деревенских говорунов, примечает обычаи, нравы, проникается интересами тех людей, для которых потом будет создавать свою великую эпопею смеха. Как ярки краски жизни! Как неповторимо оригинальны каждое лицо, жесты, движения! Как благозвучен многоголосый шум толпы! Как хорош этот хмель жизни!

Но Рабле не оставляет и книги. Ему нужны по-прежнему и ученый спор о каких-нибудь загадочных строках древнего автора, и радость открытия, и тонкое суждение, и философическая истина.

Епископ окружен местными эрудитами. Он ценит ум и образованность. В его ученой

свите и Франсуа Рабле. Но, исчерпав все, что можно было получить в Пуату, Рабле уходит. Он идет в новые поиски впечатлений и знаний. В то время не было газет, журналов. Мир можно было узнать, только повидав его, пространствовав по земле. И в жизни Рабле открывается страница увлекательных странствий по университетам. Рабле покинул монастырь, вероятно, в 1527 году. Он распростился с монастырской жизнью навсегда. С котомкой за плечами, с очень скудным запасом денег, бедняк, почти нищий, бродил он по стране, переходя из одного университетского города в другой, жадно взирая на мир, прислушиваясь к говору народа, подхватывая на лету хлесткие, образные словечки, народные пословицы. Его герой Пантагрюэль посещает те же места. Шутливо Рабле описывает маршрут его путешествий. Пуатье, где школяры не знают, чем занять свой досуг, Бордо, где спирт не в почете у студентов, Тулуза... Здесь весело. Здесь танцы и фехтование, но... «студенты живьем поджаривают своих профессоров». В 1532 году в Тулузе был сожжен на костре профессор права Жан де Коар по подозрению в тайной связи с кальвинистами. Это имеет в виду Рабле.

«Не дай мне бог умереть такой смертью! Я от природы человек пылкий, куда мне еще подогреваться на костре!»

Бурж. Здесь юридические науки, тексты римских законов — сами по себе увлекатель-

ные, ибо за ними открывается жизнь древних, но до чего же нелепы пояснения средневековых комментаторов,— не комментаторов, а tourmentatores (мучителей) права! Далее Орлеан, где «ватага проказливых студентов», Париж, Анжер. В Монпелье занятия медициной — «занятие крайне беспокойное и безотрадное», «от лекарей пахнет промывательным, как от старых чертей». Но это шутка. Рабле остался в Монпелье для серьезного изучения медицины.

В средние века университеты жили своей особой жизнью. Это были как бы государства в государстве. Местные власти не отваживались вмешиваться во внутренние дела студенческой и профессорской корпораций. Города были заинтересованы в университетах. Последние составляли их славу, привлекали толпы учащихся со всех концов не только Франции, но и Европы. Студенты переходили из одного университета в другой слушать «знаменитостей». Преподавание велось на международном языке — латыни. Были вечные студенты. Были среди них такие, что, кроме варварского смешения своего родного языка с латынью, так ничему и не научились. Рабле рассказал о студенте-лимузинце, что «пытался обезьяничать с парижан, на самом же деле обдирал с латыни кожу».

Автор руками своего героя Пантагрюэля очень строго наказал за это тщеславного молодого человека и заявил, сославшись на

авторитет Авла Гелия и Октавиана Августа, что «должно говорить общепонятным языком» и «избегать непонятных слов так же старательно, как кораблеводитель избегает подводных скал». Совет полезный для всех, кто скудость познаний прикрывает взятой напрокат из чужих языков терминологией.

Ученое фанфаронство Рабле осмеивает, но истинную ученость превозносит. Его герой Пантагрюэль встретил в Париже Панурга. Тот, дабы поморочить незнакомца, отвечал на его вопросы на немецком, итальянском, голландском, испанском, датском, греческом, латинском, еврейском, баскском, шотландском языках. Шутовства ради Рабле добавил две-три фразы на выдуманном языке, однако остальные даны правильно, разве лишь фраза на шотландском несколько искажена.

Очевидно, всеми этими языками владел Рабле. О его учености ходили легенды среди современников. Говорили, что ему удалось добиться аудиенции у канцлера Франции Депра в Париже, куда он явился с ходатайством о сохранении за университетом в Монпелье его привилегий, только прибегнув к Панурговой шутке и поразив всех знанием стольких языков.

Семнадцатого сентября 1530 года Рабле поставил свое имя в списках слушателей медицинского факультета в Монпелье. 1 ноября того же года получил ученое звание — бакалавра. Для успешной сдачи экза-

менов требовалось знание медицинских трактатов древности — сочинений греческих врачей Гиппократа и Галена. Это были непререкаемые авторитеты средневековой медицины. Самостоятельных шагов она еще не делала.

Итак, годы учения окончены. Рабле — бакалавр. Теперь он покидает Монпелье и отправляется в Лион.

Он приглашен в местный госпиталь в качестве врача. И в медицине Рабле революционер. Он публично анатомирует труп повешенного — факт неслыханный и ужасный, по понятиям средневекового человека. Его научная программа достаточно ясно изложена им самим в его книге: «...внимательно перечти книги греческих, арабских и латинских медиков, не пренебрегай и талмудистами и кабалистами и с помощью постоянно производимых вскрытий приобрети совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, то есть человека» (из письма Гаргантюа к сыну).

Познания Рабле в медицине были по тем временам обширны, и он не менее славился как искусный врач, чем как остроумнейший писатель. Его друг, Этьен Доле (ученый, гуманист, издатель. Он был казнен потом за атеизм), восторженно писал о нем в латинских стихах:

Франсуа Рабле, честь и слава науки,
Способен отвращать мертвецов от порога могилы
И возвращать им свет!

Рабле не только врач-практик, он ученый, распространитель медицинских знаний. В Лионе в 1532 году он публикует «Афоризмы» Гиппократа. Греческий оригинал напечатан параллельно с текстом латинским. Это книга для врачей. Последние в восторге. Наконец-то в их руках подлинный текст великого врача древности, без искажений переводчика, отпечатанный под наблюдением специалиста. Рабле посвятил книгу Жофруа д'Эстиссаку, к которому сохранил навсегда чувства большой признательности.

Тридцатого ноября 1532 года он пишет письмо великому Эразму Роттердамскому. Эразм был стар. Дело его жизни было уже совершено, и он пожинал теперь плоды своей многолетней научной, просветительской, общественной деятельности.

Слава его гремела повсюду. Не было в Западной Европе XVI столетия человека, хоть мало-мальски грамотного, который не испытывал тогда чувство невольного трепета при одном упоминании его имени. Мракобесы-догматики его ненавидели, но боялись. Все остальные благоговели перед ним. Эразм.— тихий, робкий, болезненный с виду —был истинным властителем умов. О его познаниях ходили легенды. Студенты со всех концов Европы стекались в университет, где читал лекции Эразм, а он не сидел на месте и разъезжал по странам, как по провинциям единого государства.

Голландец по происхождению, он жил годами в Англии, Италии, Франции, Германии. Каждая страна почитала за честь для себя визит знаменитого человека. И Эразм не связывал себя с какой-либо национальностью. «У меня нет оснований считать себя французом, но нет оснований и оспаривать это»,— говорил он. Это был вождь европейского гуманизма. К нему тянулись все светлые умы времени. Своим личным авторитетом Эразм придавал авторитет всему умственному движению гуманизма. Короли и папы наперебой заискивали перед Эразмом, сулили ему горы златые, только бы он согласился быть при их особе.

В своем письме к Эразму Рабле называет его своим отцом. Эразм сходил в могилу (он умрет через четыре года). Рабле как бы принимал из его коснеющих рук скипетр и державу. Рабле никогда не получит при жизни такой славы, которая выпала на долю Эразма, но посмертная слава Рабле ослепительнее, долговечнее.

Пока Рабле безвестный автор, бакалавр медицины, бедняк, получающий за свои труды какие-то крохи от лионских книгоиздателей. Городской госпиталь предложил ему оплату мизерную (сорок ливров в год). Условия работы сложные: до двухсот больных в одной палате, иногда по нескольку больных на одной постели. Это средневековье!

К концу года Рабле печатает в типографии Клода Нури книгу, совсем не похожую на те ученые трактаты, которые готовил к печати до того. Раньше он смело и, пожалуй, не без гордости подписывал свое имя. Теперь он придумывает другое, немножко странное — Алькофрибас Назье. Только пристальный взгляд различит здесь буквы из состава его имени. Это анаграмма.

Книга называлась: «Ужасающие и устрашающие деяния и подвиги знаменитейшего Пантагрюэля».

В день выхода в свет этой книги Франция вступила в зенит своего Возрождения. То, что было до того, следует рассматривать лишь как подготовительный этап, как медленный путь к вершине. Рабле — вершина. Но об этом потом. Сейчас о его личности, о треволнениях и заботах его жизни.

В 1533 году в Лионе чрезвычайное событие — приезд короля Франциска I. В течение многих недель увеселения и празднества.

В свите короля несколько ученых. Рабле немедленно знакомится с ними (один из них оказался его земляком); они тотчас же поняли, оценили Рабле и наговорили о нем много доброго и лестного Жану дю Белле, а последний — значительная персона в королевстве, архиепископ Парижский и доверенное лицо Франциска I. Жан дю Белле пожелал увидеть Рабле. Знакомство состоялось. Оба понравились друг другу.

Своеобразие тех времен: искусство, наука искали меценатов. Общественное мнение еще не имело силы. Мнение отдельных лиц, значительных по занимаемому положению в государстве, предопределяло тогда судьбу деятелей культуры. Счастье художника, ученого, если находился среди власть имущих кто-либо, достаточно разумный, чтобы оценить его труд. Поэтому и здесь, в этой маленькой книжечке о Рабле, надо сказать о тех нескольких умных вельможах королевской Франции XVI века, которые сыграли значительную роль в его судьбе.

Братья дю Белле, Гийом и Жан, пользовались большим доверием короля. Первый, маршал и дипломат, человек «пера и шпаги», второй дипломат и кардинал. Оба люди образованные, с большим уважением относившиеся к гуманистам. Их племянник Иоахим дю Белле стал одним из лучших поэтов Франции XVI столетия.

Оба брата, Гийом и Жан, не раз отводили беду от головы Рабле, а ему грозила участь его друга Этьена Доле, сожженного на костре.

Двадцать третьего октября 1533 года Сорбонна осудила первую книгу Рабле (вторую в романе) «Пантагрюэль». Но Жан дю Белле защитил автора. Осуждение Сорбонны не имело последствий. В январе следующего года архиепископ Парижский отправился в Рим с важным дипломатическим поручением к папе. По дороге, в Лионе, он захватил с со-

бой Рабле в качестве личного врача. Сбылась давняя мечта писателя — он ехал в Рим, Мекку гуманистов.

Посол и его медик — каждый имел свои заботы. Посол должен был добиться от папы утверждения развода Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Семейная распря английского короля будоражила тогда всю Западную Европу. Испания и Германия, Италия и Франция были втянуты в дело о разводе. Король французский, помирившийся к этому времени с Генрихом VIII, был «за», император германский Карл V — «против» (он доводился племянником неугодной королеве).

Отправляясь в Рим, Рабле хотел встретиться со всеми тамошними учеными и разрешить с ними целый ряд неясных для него мест греческих и латинских текстов, ознакомиться с итальянской флорой и фауной, воспользоваться достижениями итальянцев в медицине, узнать о новых лекарствах. Он задумал написать книгу о топографии Рима, но, как узнал, в городе уже готовилась такая книга к печати, и потому отказался от своего плана.

Пребывание в Итадии было непродолжительным. В мае Рабле уже вернулся в Лион и снова занялся врачебной практикой. По пути во Францию он побывал во Флоренции. Вот как он описал свои впечатления в Четвертой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля»: «...вы мне напомнили то, что мне довелось

видеть и слышать во Флоренции около двадцати лет тому назад. У нас тогда составилась премилая компания: все люди любознательные, страстные путешественники, постоянные посетители людей ученых, любителей древностей и достопримечательностей Италии. И мы с любопытством осматривали местоположение Флоренции, любовались ее красотами, архитектурой ее собора, величественными ее храмами и пышными дворцами и даже вступили друг с другом в соревнование, кто из нас найдет наиболее подходящие слова, дабы воздать всему этому должную хвалу, как вдруг один амьенский монах по имени Бернард Обжор в запальчивости и раздражении воскликнул: «Не понимаю, какого дьявола вы все здесь так хвалите! Я осмотрел город с неменьшим вниманием, чем вы, да и зрение у меня не хуже вашего. И что же? Красивые дома, только и всего! Но, да будут мне свидетелями сам бог и святой Бернард, мой покровитель, я еще не видел ни одной харчевни, а ведь я, словно сыщик, все как есть тут высмотрел и выглядел: мне все хотелось вычислить и высчитать, сколько здесь таких харчащих харчевен справа и сколько слева и на какой стороне больше. Ходим, ходим мы тут с вами, осматриваем, осматриваем, а в Амьене мы прошли бы втрое, вчетверо меньше, и я бы уже вам показал около пятнадцати старых, аппетитно пахнущих

харчевен. Не понимаю, что за удовольствие глазеть возле башни на львов и африканов (так, по-моему, вы их называете, а здесь их зовут тиграми) или на дикобразов и страусов во дворце синьора Филиппо Строцци. Честное слово, други мои, я предпочел бы увидеть славного, жирного гусенка на вертеле. Вы говорите, этот порфир и мрамор прекрасны? Не спорю, но, на мой вкус, амьенские пирожки лучше. Вы говорите, что античные статуи изваяны превосходно? Верю вам на слово, но клянусь святым Фереолем Аббевильским, наши девчонки в тысячу раз милее».

Рабле, конечно, шутит. Но и в шутке есть доля истины. Он знает цену старине, гению человеческому, запечатленному в мраморе, но жизнь есть жизнь. Каждому поколению отведено свое время, и ради минувших времен не нужно забывать о своем. Живые живите! — вот смысл забавной воркотни амьенского монаха.

К августовской ярмарке 1534 года лионский книгоиздатель Франсуа Жюст выпустил вторую книгу Рабле, книгу, «полную пантагрюэлизма» — «Бесценную жизнь великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля». Рабле смеялся свободно. У него появился могучий покровитель, архиепископ Парижский, правая рука короля. Теперь не страшна и Сорбонна. Но произошло непредвиденное событие. В ночь с семнадцатого на восемнадцатое октября

того же года в Париже и других городах Франции на стенах домов появились плакаты против папы и католической церкви. Один такой плакат был приклеен даже к двери спальни короля в амбуазском замке. Король был взбешен и напуган.

Сорбонна организовала покаянную процессию. Во главе ее с непокрытой головой шел сам король. Запылали костры. Сорбонна внесла предложение — запретить вообще книгопечатание. Франциск I склонялся к тому, чтобы издать такое постановление. Гийом Бюде — его библиотекарь, секретарь, советник по вопросам культуры — с большим трудом отговорил его от этого рокового шага.

Рабле почел за лучшее скрыться. В течение полугода о нем ничего не было слышно. В Лионе его не было. Он появился только летом 1535 года, когда через город проезжал Жан дю Белле с новой миссией в Рим. Рабле присоединился к свите епископа и выехал в Италию. Это было тоже бегство.

В Ферраре при дворе герцога (жена герцога, дочь французского короля Людовика XII, скучала по родине и охотно принимала земляков) Рабле встретил Клемана Маро, поэта и бунтаря, скрывавшегося в Италии.

У Рабле и Маро много общего. Они оба насмешливы, оба любят острую, иногда и крепкую речь, игру слов, игру ума. Оба гуманисты. И они подружились.

Тридцатого июня Рабле в Риме.

Жан дю Белле прибыл в «вечный город» получить кардинальскую шапку. Рабле воспользовался случаем, чтобы кое-что сделать и для себя. Тучи над ним сгущались, надо было быть начеку. Он испросил у папы Павла III отпущения грехов, главный из которых состоял в том, что он покинул монастырь и сбросил монашеское одеяние. Таковое отпущение было ему дано. Папа разрешил ему заниматься врачебной практикой и вернуться в любой бенедиктинский монастырь по собственному усмотрению.

Таким образом, правовое положение «беглого инока» было восстановлено. В тот момент это было для него чрезвычайно важно.

Письма, какие писал Рабле из Рима к Жофруа д'Эстиссаку (а с ним писатель не порывал связи), ярко живописуют бедственное положение писателя. Стол и ночлег он имел бесплатный у Жана дю Белле, но... не хлебом единым жив человек. Д'Эстиссак выслал ему деньги.

В Риме ожидался приезд германского императора Карла V, врага Франции. Жан дю Белле поспешил уехать. В апреле 1536 года его догнал в Лионе Рабле, выехавший из Рима позднее. Летом началась война с Карлом V.

В Пиренеях, Альпах, в Пикардии шли бои. В книге Рабле немало намеков и пря-

мых высказываний о происходящих тогда событиях.

Рабле ничего не печатает, почитая за лучшее пока молчать. 22 мая 1537 года в Монпелье он получил высшее ученое звание — доктора медицины и все соответствующие знаки отличия — золотое кольцо, тисненный золотом кушак, панаму из черного драпа и шапочку из малинового шелка, а также экземпляр сочинения Гиппократа.

Двадцать седьмого сентября он принимает участие в торжественном пленарном заседании ученых медицинского факультета в Монпелье, а в октябре — марте читает курс лекций о теории прогноза Гиппократа — комментарий к греческому тексту. Кроме того, проводит публичный сеанс анатомии. Успех был необычайный.

Далее мы видим Рабле в свите Гийома дю Белле. Он его врач. Сопровождает его всюду. Привязался к нему, и когда тот умирает на его руках, он искренне печалится.

Умирая, Гийом дю Белле обязал своих наследников пожизненно выплачивать пенсию Рабле. (Привязанность была взаимная.)

В 1546 году Рабле, после двенадцатилетнего перерыва, наконец осмелился опубликовать продолжение своего романа, Третью книгу, напечатав ее в Париже. Но время было неблагоприятное: в августе того же года на площади Мобер зверски казнили гуманиста

и издателя Этьена Доле — повесили, а потом сожгли. Этьен Доле был другом Рабле, его издателем. Это все знали, и прежде всего, конечно, Сорбонна.

Рабле бежал в Мец, город, не входивший в состав Франции. (В нем жили французы.) Вскоре умер Франциск I. Новый король Генрих II очень хотел походить на отца и не трогал тех, к кому благоволил отец. Не трогал он и Рабле и даже дал ему разрешение на печатание его книг. Но человек он был суровый, далекий от каких-либо интеллектуальных и эстетических интересов, к тому же строго религиозный. Сорбонна подняла голову.

В начале 1548 года Жан дю Белле снова едет в Рим по поручению Генриха II и берет с собой Рабле.

Проезжая через Лион, писатель дает местному издателю пролог и одиннадцать глав своей следующей, Четвертой книги. Эта книга — «веселое времяпровождение. Она не представляет опасности ни Богу, ни королю и никому другому»,— спешит заявить писатель. Интерес к его сочинению так велик, что издатель берет у автора рукопись, которая обрывается на незаконченной фразе.

В сентябре следующего года Рабле возвратился во Францию. Нерадостные вести ждали его. Среди монахов нашелся яростный фанатик, который долгом своей жизни почел преследование писателя. Это был доктор

парижского богословского факультета Габриэль де Пюи-Гербо («бешеный Пютерб», как назвал его Рабле).

За ним последовал поэт-католик Жан де Сен-Март, а потом поднялись и протестанты. Обе борющиеся церковные партии ополчились на него. Сам Кальвин — глава швейцарских протестантов — объявил его «безбожником среди псов и свиней». Гнев протестантов «помог» писателю. Проклятие Женевы принесло ему благословение Парижа.

Король предоставил ему «привилегию» на издание романа.

Со смертью Франциска I влияние Жана дю Белле свелось к нулю. Новый король приблизил к себе кардинала Одета де Колиньи, младшего брата знаменитого адмирала. Последний позднее возглавит все полки гугенотов. К нему потом присоединится и упомянутый кардинал. Но пока он в лоне католической церкви и верно служит папе и королю. Рабле немедленно использует политическую обстановку. Свою Четвертую книгу он посвящает Одету де Колиньи.

Жан дю Белле отошел от политики, но позаботился о своем старом друге. Он подыскал ему приход в Медоне в провинции Турень. И автор «Гаргантюа» стал «веселым медонским кюре». Обязанностей священника он, конечно, не исполнял и незадолго до смерти отказался от должности.

Удивительный парадокс истории! Рабле,

осмеявший церковь, католиков и протестантов, внушавший своим читателям великое недоверие к религии вообще, пользовался покровительством трех сановников Франции и благосклонностью трех пап.

Что за чудеса? — Чудес нет. Рабле умно использовал политические страсти Европы. В добром короле Гаргантюа Франциск I предполагал свой портрет, или ему говорили об этом. В короле Пикрохоле он видел своего постоянного недруга Карла V. Папы больше поддерживали Карла V, чем французского короля, и Франциску I были приятны насмешки над ними. Протестанты стали досаждать королю внутри его дома, во Франции, и насмешки над ними тешили его. Что касается прозрачных намеков на религию, то их не хотели замечать. Религиозностью не страдали ни короли, ни папы. Для них важны были ближайшие политические интересы. Потому писателю удавалось печатать свою книгу и уклоняться от ударов Сорбонны.

Встречи Рабле с папами,— а он встречался с троими,— не внушили ему особого уважения к высшему духовному сану, как и к самой церкви. «Я видел целых трех, но проку мне от этого не было никакого»,— заявляет Панург.

Народная молва сохранила немало анекдотов, связанных с пребыванием писателя в Ватикане.

Папа Павел III спросил однажды, что хотел бы получить от него медик французского посла.

— Отлучите меня от церкви,— ответил Рабле.

— Почему?

— Это спасет меня от костра.

Он рассказал при этом, что однажды в Лионе после того, как долго не могли разжечь костер под одним несчастным, какая-то женщина крикнула с досадой: «Да его, наверное, сам папа отлучил от церкви, раз и костер его не берет».

Мы не знаем обстоятельств смерти Рабле. Современники отозвались на его смерть восторженными и насмешливыми, добрыми и язвительными эпитафиями. Иные шутили: «В преисподней теперь весело: Рабле и там насмешит».

Знаменитой стала предсмертная фраза Рабле: «Я иду искать великое «Быть может». Вряд ли это была чья-то выдумка. Фраза глубока по своему философскому смыслу. Ее мог произнести только Рабле да позднее Монтень.

Вечный искатель истины, Рабле и умер с вопросом, он хотел бы искать и за пределами бытия.

ВЕСНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

«То было темное время, тогда еще чувствовалось пагубное и зловредное влияние *готов*, истреблявших всю изящную словесность»,— писал о своей молодости король-великан добрейший Гаргантюа сыну.

Чтобы понять смысл этой фразы, нужно вспомнить историю европейских народов от Рабле в глубь веков.

В V веке нашей эры перестал существовать античный мир, точнее громадная Римская империя. Подточенная изнутри давним недугом, а именно изжившей себя формой социально-экономических отношений (рабовладением), она не смогла противостоять натиску варварских племен и рухнула, подобно колоссу на глиняных ногах. Человечество вступило в новую фазу развития. На смену рабовладельческому обществу пришел феодализм.

Падение Римской империи повлекло за собой уничтожение многих культурных богатств, накопленных к тому времени.

«Средневековье развивалось на совер-

шенно примитивной основе. Оно стерло с лица земли древнюю цивилизацию, древнюю философию, политику и юриспруденцию, чтобы начать во всем с самого начала. Единственным, что оно заимствовало от погибшего древнего мира, было христианство и несколько полуразрушенных, утративших всю свою прежнюю цивилизацию городов. В результате, как это бывает на всех ранних ступенях развития, монополия на интеллектуальное образование досталась попам, и само образование приняло тем самым преимущественно богословский характер» [1].

Попы не понимали того, какой ущерб они наносили человечеству. С диким ожесточением они довершали разрушение античной культуры. Папирусы со стихами Алкея и Сапфо, живших в VI веке до н. э., были сожжены византийскими монахами.

Человечество уже в античные времена было на пороге великих открытий. Греческие ученые — Гераклид Понтийский (IV век до н. э.), Аристарх Самосский (III век до н. э.) — имели ясное представление о движении земли вокруг солнца. Между тем во времена Рабле, то есть почти двадцать веков спустя, официальная точка зрения была такова, что земля неподвижна и солнце совершает свой рейс вокруг нее.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 7, стр. 360.

Коперник сформулировал гелиоцентрическую теорию в XVI столетии. Два тысячелетия отделяют его от Гераклида Понтийского и Аристарха Самосского. Два тысячелетия гениальная догадка древних ждала научного обоснования. Но и после Коперника гелиоцентрическая теория еще не завоевала себе всеобщего признания. Католическая церковь сожгла на костре Джордано Бруно, распространителя идей Коперника. В 1615 году она вызвала Галилея на суд инквизиции и заставила его отречься от собственных открытий и отвергнуть Коперника. Вот оно, «зловредное влияние готов», о котором говорил Рабле.

Руками античных мастеров были созданы великолепные памятники искусства. Гений человеческий сверкал подобно солнцу. Архитектура и скульптура, поэзия и философия, познание человека и мира — все занимало его. Но культурные богатства античности были уничтожены, погребены под землей, забыты, и даже то, что сохранилось, было искажено теми, кто осуществлял тогда, говоря словами Энгельса, «монополию на интеллектуальное образование».

Сочинения Аристотеля,— а он пользовался в средние века непререкаемым авторитетом,— были обезображены, переиначены, и когда в XV веке итальянец Бруни восстановил подлинный текст греческого философа, попы готовы были его привлечь к суду инквизиции.

Первыми, кто осознал утрату культурных ценностей античности, кто содрогнулся при виде содеянного зла, были гуманисты,— гениальные одиночки, с великим трудом пробившиеся к тому немногому, что чудом сохранилось от античной культуры.

Рабле назвал средневековье «темным временем», монахов, мешавших возрождению античной культуры,— варварами, «готами».

Средневековье! Для гуманиста это мрачная полоса жизни европейских народов, которая сменила цивилизацию древних греков и римлян. На обломках уничтоженной, погубленной, поруганной культуры утверждалось темное царство «готики» — всеобщее одичание, укоренение предрассудков, изуверские пытки над телами и душами людей, над их самым дорогим и чудодейственным достоянием — разумом. Гуманисты прокляли это время, и так как самую большую энергию к поддержанию «готического» порядка вещей проявляла церковь, то они лютой ненавистью воспылали прежде всего к ней.

Себя они считали предвестниками новой эпохи. Они хотели возродить погребенное, варварски уничтоженное, возвратить к жизни то, что имело человечество и что по трагическому стечению обстоятельств утратило.

Потому-то их время и назвали «Возрождением». Это весна после долгой зимней спячки, весна всего человечества, весна обновляющая, живительная, благодатная.

Рабле был гуманистом. «Теплое дыхание весны человеческого разума коснулось его лба»,— писал обожавший его Анатоль Франс.

Гуманисты полагали, что их миссия сводится к воссозданию утраченной античной культуры. Но исторические задачи, вставшие перед ними, были более значительными.

В обществе возникала новая социальная сила — буржуазия. Для своего развития она нуждалась в иных порядках. Ей мешали областническая разобщенность государства, распри князьков-феодалов, система прикрепления крестьян к земле, что лишало рынок свободных рабочих рук, ей мешала даже пышная, иерархически подчиненная Риму и очень обременительная для налогоплательщиков католическая церковь. Развивающееся производство нуждалось в науке, в практической, трезвой, стоящей на тверди земной философии — материализме. Целый ряд событий в жизни человечества подкрепил эти исторические тенденции. «Изобретение книгопечатания, пороха и компаса оказало такое влияние на человеческие отношения, какого не оказывала ни одна власть, ни одна секта, ни одна звезда»,— писал Фрэнсис Бэкон. Открытие Америки изменило представление средневекового человека о географическом положении земли. Возрождение античной культуры перевернуло представление о человеческой истории и поколебало догматическую систему взглядов богословия.

Возникновение гуманизма было, конечно, вызвано не археологическими раскопками, открывшими взору средневекового человека сокровища античной культуры, оно было подготовлено и порождено назревающей необходимостью социальных преобразований.

Родина Рабле переросла старые, давно сложившиеся формы общественных отношений. Писаные и неписаные законы средневековья утратили для новых времен если не свою силу (эту силу еще нужно было сломить, и сломить в ожесточенной борьбе), то свою жизненную правомерность. В них иссяк тот элемент жизни, который обеспечивает обществу деятельность и прогресс. Аллегорически Рабле выразил эту мысль притчей о замерзших словах. Законы былых времен, подобно обледенелым словам, оттаяв на мгновение, доносили до слуха современника Рабле обрывки фраз, давно отзвучавших и теперь потерявших всякий смысл.

Гуманисты XVI столетия прославили идею человеколюбия. Эту идею, как известно, провозглашала и церковь. Однако проповедь смирения и жертвенной любви к человеку, проповедь аскетизма и самоотречения влекла сознание народа к химерическим красотам потустороннего мира, оставляя в реальном мире царство несправедливости и зла. Идея человеколюбия превращалась здесь в страшное орудие духовного закабаления народа.

В устах гуманиста идея человеколюбия

звучала как требование счастья в реальном мире, как отказ от рабского смирения, покорности и самоуничижения во имя аскетических идеалов церкви. Она будила энергию человека, влекла его к деятельности, звала к борьбе.

Сами гуманисты были людьми особого склада. Сыны разных народов, они были братья по духу. Иногда и в личных отношениях друг с другом они были связаны крепкими узами самой трогательной дружбы (Эразм и Томас Мор, французский гуманист Бюде и испанец Вивес). Это была поистине международная семья великих энтузиастов, великих талантов и великих страдальцев науки.

Международные связи ученых не были тогда затруднены различием языков. Наука в те дни говорила языком древних римлян. Мертвая латынь служила чудодейственным средством общения умов. Иногда гуманисты переводили свои книги, написанные на родном языке, на международную латынь.

Смелые и энергичные, не терпящие никакого лицемерия и ханжества, гуманисты уважали ум человеческий, ценили знания, накопленные народами, стремились обратить мудрость веков на благо человека. Это были по-настоящему сильные люди, цельные натуры, способные совершать подвиги, не щадившие себя в борьбе за утверждение пра-

вильного взгляда на мир, за преобразование норм человеческого общежития.

Гуманисты предпочитали смерть позорной капитуляции перед всесильной тогда церковью. Бонавентур Деперье, автор философского памфлета «Кимвал мира», бросился на острие шпаги, но не покорился, не отказался от гуманистических идеалов. С гордостью за неистребимую никаким пламенем истину, с презрением к своим палачам взошли на костер испанец Мигель Сервет, итальянец Джордано Бруно.

«Наука и мысль до начала XVI столетия скрывалась во мраке, как чернокнижничество, разбой и контрабанда» (Белинский), в XVI веке наука и мысль устремились на широкий простор, обратились к народу. Книгопечатание вывело науку из темных кабинетов, из мрачных университетских аудиторий на свежий воздух, к свету, к жизни. Деятельность известной семьи типографов Этьенов содействовала приобщению к науке талантливой молодежи. Справедливо писал один из современников: «Франция более обязана Роберу Этьену, усовершенствовавшему книгоиздательство, чем величайшим полководцам, расширявшим ее границы».

Главная область деятельности гуманистов — филология. И это закономерно, ибо необходимо было прежде всего восстановить забытую, погребенную античную культуру и на ее основе создать культуру нового вре-

мени. Филология поэтому стала первейшей наукой Возрождения. Гуманисты-филологи, кропотливо собирая и искусно реставрируя подчас по отдельным, чудом сохранившимся фрагментам, фразам, словам памятники античной литературы, начинали работать над созданием новой культуры.

В те годы, когда писал Рабле, гуманисты были полны веры в будущее. Неугомонные искатели знаний, они увлекали за собой других. Сама наука возвысилась в глазах масс, и молодежь потянулась к книге, которую научились печатать быстро и в широких масштабах.

Это всеобщее пробуждение от долгого духовного сна хорошо описал Гаргантюа в послании к сыну. Гаргантюа человек иного поколения. Его ранняя юность прошла при «готах», он сам испытал на себе приемы схоластической школы средневековья. Его сын Пантагрюэль живет уже в пору расцвета наук и искусств. «...С наук на моих глазах сняли запрет, они окружены почетом, и произошли столь благодетельные перемены, что теперь я едва ли годился бы в младший класс, тогда как в зрелом возрасте я не без основания считался ученейшим из людей своего времени... Ныне науки восстановлены, возрождены языки: греческий, не зная которого человек не имеет права считать себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Ныне в ходу изящное и исправное тиснение (книгопечатание.— *С. А.*), изобретенное в мое время по

внушению бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению дьявола. Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников, обширнейшие книгохранилища, так что, на мой взгляд, даже во времена Платона, Цицерона и Папиниана было труднее учиться, нежели теперь, и скоро для тех, кто не понаторел в Минервиной школе мудрости, все дороги будут закрыты».

Гуманистическая филология открыла средневековому человеку сокровища античной философии в ее развитии и борьбе идеализма и материализма. Последнее натолкнуло средневекового человека на самостоятельные философские разыскания, заставило определить свое отношение к философским школам древности.

Философия неотделима от науки, от уровня познания материального мира. Прерванная веками одичания, когда единственной носительницей культуры стала христианская церковь, по самому существу своему враждебная идее просвещения народа и развитию культуры, философская мысль была подавлена на всем протяжении раннего феодализма. Она приспосабливалась к церкви (ее окрестили «служанкой богословия»), пускалась в хитросплетения богословской казуистики, но чаще просачивалась из-под давящего ее пресса религиозной догмы в виде ересей, принимая фантастические формы.

Материализм был сдавлен тисками тео-

логии, но он жил и упорно проявлял стремление вырваться на свободу. Росла культура, из века в век крепла наука, какие бы запреты ни накладывала на нее католическая церковь, перед человечеством открывались все новые и новые горизонты, вопреки всем заградительным мерам мракобесов, и менял свою форму материализм, опираясь на новые открытия науки, оттачивая свое оружие в борьбе с идеализмом, который тоже не отставал и обновлял с течением времени пришедшие в негодность доспехи. «С каждым составляющим эпоху открытием даже в естественно-исторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму»,— писал Энгельс [1].

Для развития материализма в средние века была очень слаба научная база. «В большинстве областей приходилось начинать с самых азов. От древности в наследство остались Эвклид и солнечная система Птолемея, от арабов — десятичная система счисления, начала алгебры, современное начертание цифр и алхимия,— христианское средневековье не оставило ничего» [2].

Философия XVI столетия начинала с отрицания средневековой науки, а так как средневековая наука была тесно связана с теоло-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 21, стр. 286.

[2] Там же, т. 20, стр. 347—348.

гией, то отрицание шло по двум линиям: схоластики как метода средневековой науки и теологии как ее основы.

Преодолевая рутину, невежество, средневековую дикость, гуманисты закладывали первые камни в фундамент медицины. Гиппократ, Гален и Авиценна были хорошо ими изучены. Пытливая мысль влекла ученых дальше. Гениальные догадки античных мудрецов подхватывались гуманистами Возрождения, становились предметом упорных изысканий и часто приводили к великим открытиям.

Широкое гуманистическое движение, возглавляемое во Франции в первой половине столетия Рабле, произвело подлинную революцию во французском искусстве. Суровый, подавляющий человека дух отрешенности от жизни царил в готике. Светом, солнцем, радостью жизни засветилось новое искусство. Там человек — раб, здесь — бог, властелин земли. Там он уродлив, изможден, тщедушен,— здесь полон здоровья, силы, здесь он радостен и прекрасен. Достаточно взглянуть на знаменитые барельефы «Фонтана Невинных» в Париже, выполненные Жаном Гужоном в 1547—1549 годах, чтобы почувствовать, какой переворот произошел во французском искусстве. Нимфы, изображенные на барельефах, полны жизни. Откуда-то с моря, с юга, кажется, налетел ветер, обдал их утренней свежестью, разметал волосы. Тонкая кисея

платья затрепетала и бесчисленными складками прильнула к горячему телу, обрисовав его прекрасные формы. Перед нами не только новые методы и приемы мастерства, здесь новое мировоззрение, новое отношение к человеку, к жизни, новая философия, и именно материалистическая философия, враждебная аскетизму.

Гуманизм во Франции — не иноземное растение, не плод, привезенный с берегов Тибра и Арно, однако Италия, открывшая античность с ее сокровищами материальной и духовной культуры, взрастившая под своим благодатным небом великих корифеев гуманизма, щедро и обильно делилась своими культурными богатствами с другими странами европейского континента, в том числе и с Францией. Не всегда, конечно, это было идиллическое культурное общение. Чаще дело обстояло иначе. Орды завоевателей врывались в богатейшие города Италии и увозили все, что можно было увезти. Французские короли Карл VIII, Франциск I совершали походы в Италию и увозили оттуда скульптуры и самих художников. Правда, церковь и Сорбонна неприветливо встречали представителей ренессансного искусства — итальянских мастеров, прямых наследников и продолжателей античных традиций. Произведения, ставшие гордостью человечества, подвергались осуждению. Но попытки задушить новую мысль, в какой бы форме она ни вы-

ражалась,— в философском ли трактате, романе, песне, на полотне живописца или в мраморе скульптура,— были тщетны. Вскоре французские художники сами стали ездить в Италию, изучать там мастерство тамошних художников и обломки великого искусства античности, извлекаемые из-под земли. Во Франции создалась крепкая группа национальных художников, архитекторов, скульпторов. Они не только создавали великолепные произведения, но и пропагандировали новые принципы искусства.

Однако наивысшего развития гуманистическая мысль Франции достигла в области художественной литературы. В первой половине XVI столетия расцвел чудесный поэтический талант Клемана Маро, жизнерадостный, светлый, иногда по-мальчишески озорной. Тогда же, подобно горному потоку, вырвавшемуся из тесных ущелий, полилась широко и свободно, шумливо и бурно могучая проза Рабле.

В первой половине века родились новые жанры, далекие от традиций рыцарского романа, близкие к традициям фаблью — сатирическая философская повесть («Веселые разговоры» Бонавентуры Деперье, «Гептамерон» Маргариты Наваррской) и сатирический философский роман.

Рабле запечатлел лучшую пору французского Возрождения, пору величественных дерзаний и дерзостной веры в титанические

силы человека. Рабле — истинный сын французского народа, выращенный и вскормленный на французской земле. Гуманист и интернационалист по своим взглядам, он вместе с тем глубоко национален. Он стремился сделать достоянием Франции культуру всего человечества и древних, и новых времен.

Свою книгу Рабле писал более двадцати лет, издавая ее частями. Она отразила эволюцию гуманистической мысли, иллюзии и разочарования благородных поборников просвещения народа, их надежды и мечты, победы и поражения. Перед вами проходит вся история французского гуманизма первой половины века во всей его славе, во всем его величии.

В первых двух книгах (1532—1534) Рабле молод, как молодо все гуманистическое движение во Франции. Все в них звучит мажорно. Здесь ясны небеса. Здесь короли-великаны легко и свободно расправляются с врагами всего человечества. Здесь над всем доминирует вера в победу разумного и доброго в жизни людей.

В последующих книгах, как увидим, на авансцену выйдет беспокойное сомнение в шутовском наряде Панурговых поисков.

Читая книгу Рабле страницу за страницей, мы ощущаем в себе нарастание какого-то непонятного нам чувства трагизма. Часто нам уже не хочется смеяться. Аллегории

становятся мрачными, шутки страшными. В первых двух книгах — мир широк. Солнце лучами своими гонит тьму. Нам весело и вольготно с добрыми великанами. Мы уверенно шагаем вместе с ними по земле и верим, что победим всякое зло. Но это чувство уверенности постепенно исчезает. Возникают сомнения. Мы начинаем уже идти осторожнее, оглядываться по сторонам: не подстерегает ли нас беда. Может быть, изменился сам Рабле, отказался от своих идей, взглядов, идеалов? — Нет. Мир идей его неизменен. Только, пожалуй, тускнела вера в победу, что-то утрачивалось в его бьющем через край оптимизме. И не его в том вина.

Около двенадцати лет отделяют год издания Третьей книги романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1546) от времени выхода первых. Многое изменилось во Франции за эти годы. В середине тридцатых годов началась жестокая расправа католической церкви с еретиками.

Франциск I, который, как было уже сказано, вначале довольно спокойно отнесся к новым вероучениям, вскоре переменил свою позицию, проявил крайнюю нетерпимость к лютеранству, и не ради какой-то особой духовной приверженности к католицизму, а по чисто политическим соображениям. «Все эти новые секты стремятся гораздо более к разрушению государства, чем к назиданию душ»,— заявлял он. Правительство

и церковь с большой жестокостью организовали преследование еретиков. Костры, массовые расправы, заточение в тюрьмах — таковы были методы борьбы короля и церкви за укрепление авторитета католицизма. Даже папа Павел III убоялся широты и размаха репрессивной политики Франциска I по отношению к протестантам и рекомендовал королю несколько поубавить «благочестивый пыл» в истреблении еретиков.

Расправа над протестантами, дикая и безумная в своей свирепости и фанатизме, произвела неизгладимое впечатление на просвещение и благородные умы Франции первой половины XVI столетия — Клемана Маро, Бонавентура Деперье, Рабле и других — и поколебала их веру в идею просвещенного абсолютизма, которую они развивали прежде с восторженным энтузиазмом.

Франциск I женит своего сына, в будущем Генриха II, на племяннице римского папы Екатерине Медичи, печально прославившейся впоследствии в событиях религиозных войн Франции второй половины XVI века. Католическая партия почувствовала себя еще сильнее. Сорбонна превратилась в мрачное судилище, уничтожавшее все живое, устремленное к прогрессу.

В последний раз встретились в Париже в 1537 году Гийом Бюде, Рабле, Клеман Маро, Этьен Доле и другие за дружеским столом, за дружеской беседой. А там судьба

разметала, разбросала их по разным сторонам. Робер Этьен и Клеман Маро покинули Францию. Доле был казнен. Рабле укрылся от грозы, уехав в Мец на должность врача.

Многое изменилось и в самом лагере гуманистов. Ряды их поредели. Одни, не имея сил расстаться с идеалами, столь дорогими для них, противоборствуют реакции и погибают. Другие идут на уступки реакции, как это сделала Маргарита Наваррская. Третьи уходят от современности. Античная культура, вдохновлявшая ранее гуманистов на борьбу с дикостью средневековья, теперь превратилась в далекую, отрешенную от современности, прекрасную Аркадию, в которую удалились гуманисты, ища забвения от страшной реальности жизни.

Гуманисты избегают теперь политических и религиозных вопросов, некоторые из них перестают даже говорить на родном языке, предпочитая умершие языки Древней Греции и Древнего Рима, иные проникаются презрением к «невежественному» народу, идущему на поводу у обманщиков и плутов в черных сутанах. Философия Пиррона (IV в. до н. э.) с его принципом невмешательства в дела мира, с его отказом от суждений, от оценки явлений мира становится в кругах гуманистов одним из популярнейших философских учений древности.

Все это, бесспорно уродливое и нездоровое в стане французских гуманистов, имело

свои причины, свои основания. Это тоже было протестом, но протестом пассивным.

Рабле в течение двенадцати лет молчал, но не сдавался, не уступал своих позиций. Свою Третью книгу он посвящает «духу королевы Наваррской». Она писала, вторя Боккаччо, озорную, проникнутую идеями гуманизма книгу «Гептамерон» (книга не была закончена и вышла в свет уже после смерти автора), но, поддавшись настроению уныния и страха, впала в мистицизм и выступила с сочинением «Зерцало грешной души». Рабле иносказательно порицает ее:

О дух высокий, чистый и благой!
Паря в родной тебе лазури рая,
Ты позабыл приют телесный свой,
Свою красу, сурово плоть лишая
Всего, чем нам мила юдоль земная.

Рабле мягко наставляет ее, просит вернуться к прежнему умонастроению («Стряхни хоть раз своей тоски вериги») и в качестве лекарства от хандры предлагает новые похождения своих развеселых героев.

В прологе к Третьей книге он презрительно бранит церковников. Они скрывают от человечества солнце, свет правды, мудрости жизни: «Вон отсюда, собаки! Пошли прочь, не мозольте мне глаза, капюшонники чертовы!.. А ну проваливайте, святоши! Убирайтесь, ханжи!»

В первых двух книгах Рабле оптимистически прославлял просвещенного монарха,

короля-философа, имея в виду, очевидно, Франциска I. Потом он еще не отказывается от этой идеи, но утверждает ее с меньшей уверенностью в успех.

В Третьей книге на авансцену выходит Панург. Он шут и насмешник. Он озорник и, прямо надо сказать, большой негодник. И вместе с тем по-своему он великий мудрец.

Панург, брат Жан, Эпистемон, Понократ и другие лица, окружающие юного принца Пантагрюэля, составляют веселую группу беззаботных гуляк, часто философов, бросающих ненароком, походя остроумные замечания, шутливые фразы, рассчитанные будто на смех, за которыми открываются неоглядные дали мысли. Что-то есть во всей этой компании от «фальстафовского фона» шекспировской комедии. Шекспир вряд ли читал роман Рабле. О каком-либо заимствовании, конечно, не может быть и речи. Но английский принц Генри и французский принц Пантагрюэль с их окружением очень напоминают друг друга. Шекспира от Рабле отделял не только пролив Ла-Манш, но и время — полвека. Однако вскормлены они были одними и теми же идеями.

Рабле нисколько не хочет реабилитировать в глазах читателя своего Панурга. Панург, конечно, умен, образован. Его память — целый арсенал самых разнообразных знаний. Но он и труслив. Он с веселым ба-

хвальством признается, что «не боится ничего, кроме опасности». Во время шторма на море (Четвертая книга) он мечется по палубе, стонет и плачет, тогда как другие смело и деятельно борются со стихией.

Он бахвал. Он готов приволокнуться за любой приглянувшейся ему женщиной. Пантагрюэль нисколько не одобряет поведения своего спутника, но есть у принца одно бесценное качество: он терпим, снисходителен к слабостям человеческим. Это качество — элемент некоей философии «пантагрюэлизма», которую проповедует Рабле.

В затейливых арабесках анекдотических исканий Панурга, его встречах и беседах с философами, богословами, шутами и колдуньями перед читателем предстают любопытные лики средневековой Франции. В легких, шутливых, остроумных диалогах, анекдотах, иногда заимствованных из фабльо, в бытовых зарисовках раскрывается материальная и духовная жизнь французского общества той поры.

Через грубоватую буффонаду дается оценка важнейшим явлениям в жизни этого общества. Комический диалог Панурга с Трюйоганом, последователем философа Пиррона, содержит не что иное, как отповедь гуманистам, отшатнувшимся от современных политических вопросов, занявшим позицию невмешательства и объявившим себя «воздерживающимися от суждений». Здесь снова

на сцену выступил старый и мудрый Гаргантюа, как носитель боевых традиций гуманизма, как живое предание лучшей поры французского Возрождения. Когда-то он с таким восторгом отзывался о деяниях гуманистов, так славил новые времена, веря в прогресс и просвещение. Теперь он печально замечает иное: мудрецы отступают перед темными силами реакции, отказываются выносить приговор веку варварства и темноты. «Я вижу, мир возмужал с тех пор, как я узнал его впервые. Подумать только, в какое время мы живем! Значит, самые ученые и мудрые философы принадлежат ныне к фронтистерию (секте раздумывающих.— *С.А.*) и школе пирронистов, апорретиков (таящихся.— *С.А.*), скептиков и эфектиков (умалчивающих.— *С.А.*)? Ну, слава тебе господи! Право, теперь легче будет схватить льва за гриву, коня за холку, быка за рога, буйвола за морду, волка за хвост, козла за бороду, птицу за лапки, а уж вот такого философа на слове никто не словит».

Четвертая книга «Гаргантюа и Пантагрюэля» — последняя книга, вышедшая при жизни автора. Она была опубликована через шесть лет после напечатания Третьей. Шесть лет — большой срок в ходе быстро развивающихся событий. Католическая реакция усиливала свой натиск. 31 марта 1547 года умер Франциск I. Престол занял Генрих II, первым законодательным актом которого было

учреждение при парижском парламенте Огненной палаты для суда над еретиками.

Как уже говорилось, монах Габриэль де Пюи-Гербо выступил в печати с клеветой и нападками на Рабле. Автор «Гаргантюа и Пантагрюэля» изображался пьяницей, обжорой и распутником.

В марте 1552 года парижский парламент подверг судебному рассмотрению Четвертую книгу Рабле. Распространился слух, что писатель брошен в тюрьму. Слух был недалек от истины. Темные тучи нависли над головой великого гуманиста, и только кончина избавила его от тюрьмы, суда и, может быть, костра.

Рабле умер, не успев закончить и издать Пятую книгу «Гаргантюа и Пантагрюэля». В 1562 году была издана часть романа под названием «Остров Звонкий», содержащая шестнадцать первых глав, и лишь позднее (в 1564 г.) книга была издана полностью. В Парижской национальной библиотеке хранится рукописный текст Пятой книги, относящийся к XVI столетию. Во всех трех названных источниках имеются значительные расхождения. В науке существуют сомнения в том, что Пятая книга полностью принадлежит перу Рабле. Полагают, что по тексту прошлась чья-то посторонняя рука и, по всей видимости, рука гугенота. Трудно судить, насколько изменена рукопись Рабле, но справедливо писал Анатоль Франс: «Я узнаю местами на ее страницах когти льва».

ВЕЛИКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

«— Что заключает в себе и что означает эта загадка?

— Что? — переспросил Гаргантюа.— Раскрытие и утверждение божественной истины.

— Клянусь святым Годераном, я эту загадку совсем по-другому толкую! — воскликнул монах.— Это же слог пророка Мерлина! Вычитывайте в нем любые иносказания, придавайте ей самый глубокий смысл, выдумывайте сколько вашей душе угодно — и вы и все прочие. А я вижу здесь только один смысл, то есть описание игры в мяч, впрочем довольно туманное».

Рабле смеется, потешается над нами. Вот он, кажется, говорит нам: «Вы хотите видеть в моих шутках какие-то серьезные мысли? Полноте! Это же простое балагурство, не более».

Мы смущены. Может быть, и вправду писатель ничего не хочет, кроме как посмеяться?

Тогда он, приняв потешно таинственную позу, шепчет нам: «...в книге моей вы обнаружите совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным учение, которое откроет вам величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как и политики и домоводства».

Нет, мы не так наивны. Это не смех ради смеха.

Вопросы философии и политики, религии и нравственности,— вот что следует здесь искать. Это главное. Рабле был гуманистом, деятелем Возрождения, следовательно, общественным деятелем прежде всего. Его волновала судьба человечества, беды человеческие на протяжении веков и особенно его современности.

Он задумывался о пороках социальных и о том, как исправить мир, как сделать человека счастливым. Все это очень грандиозно. Потому и стала его книга общечеловеческим достоянием.

Мишле назвал ее энциклопедией. Она действительно энциклопедия социальной, политической и культурной жизни Франции XVI столетия. Это, следовательно, исторический документ, по которому мы судим о том, что происходило в стране четыре века назад. Но вместе с тем она и политический, философский, эстетический, нравственный «трактат», который может формировать наш ум, делать нас людьми в высоком значении этого

слова. Автор справедливо заверяет нас на первой же странице: «...вы можете быть совершенно уверены, что станете от этого чтения и отважнее и умнее».

И тем не менее книга Рабле не историческая хроника и не философский трактат. Это — произведение искусства, творение художника. Флобер, как мы видели, ставит его в один ряд с произведениями Гомера, Шекспира, Гете.

Искусство Рабле своеобразно. Писателя сравнивают с Аристофаном. Главное, что роднит их,— это масштабность их сатиры. Оба они берут темы большие, общенародные и в конце концов общечеловеческие.

Комедии Аристофана — выступления по очень важным, по сути дела всемирно-историческим проблемам: война и мир («Лизистрата»), государство («Всадники»), философия («Облака»), искусство («Лягушки»).

То же мы увидим и у Рабле.

Аристофан не стесняется в комедийных средствах. Он смело берет из жизни все, что в ней есть, все вынесет на сцену, покажет вам уличную драку, крикливую перебранку, муху доведет до размеров слона и слона превратит в муху. Он ярок, гиперболичен, шумлив и часто бесцеремонен.

Его герои на сцене отправляют свои естественные надобности, а говорят они так, что у гоголевских дам, «просто приятных»

и «приятных во всех отношениях», завяли бы уши.

Рабле, как и Аристофан, великий мастер смеха. Современный английский писатель Сомерсет Моэм заявил однажды: «Смеха следует добиваться ради смеха». Но это неверно. «Смех часто бывает великим посредником в деле отличения истины от лжи»,— писал Белинский.

Именно таков смех Рабле. Потому важно сначала выяснить, во имя каких истин смеялся и заставлял смеяться своих читателей Рабле.

Книга его — кладезь мудрости. Она неисчерпаема. Мы сумеем здесь рассмотреть только главные, очень важные для Рабле и его времени проблемы и идеи.

МОНАРХ И НАРОД

В те времена, когда жили гуманисты, в Европе происходил бурный процесс формирования наций. Шло собирание земель, объединение территорий под эгидой единого правителя. Необходимо было освободиться от областнической разобщенности, от постоянных смут, распрей, междоусобных войн между отдельными князьками.

Что представляла собой Франция в дни Рабле? Страна переживала переломную эпоху: порядки «кулачного права», характери-

зующие ранний феодализм, уходили в прошлое. Наступила новая фаза французского феодализма, пора консолидации монархического государства, укрепления национального единства. В основном закончился долгий и мучительный процесс «собирания земель». Обособленные, разрозненные, обреченные на экономическое прозябание области, подвергавшиеся постоянным грабительским набегам извне, теперь слились в единую государственную систему.

Еще свежи и болезненны швы, соединившие княжества, герцогства, графства. Еще сохраняют независимость отдельные области, как, например, княжество Оранж, которое, подобно маленькому островку, окружено со всех сторон территорией Франции, но живет обособленно и лишь в 1714 году сольется с ней, или графство Венессен, территориально входившее в состав Франции, но принадлежавшее римскому папскому двору, и только в 1791 году освободившееся от этой зависимости.

Пути сообщения из рук вон плохи. С купцов, провозящих товары по дорогам, пересекающим владения сеньоров, взимаются дорожные пошлины. Владельцы земель, прилегающих к берегам рек, устраивают заставы, дабы принудить купцов и здесь платить за проезд. Судоходная Луара имела около ста пятидесяти таких застав. Тщетно короли издают ордонансы, запрещающие взимание

подобных пошлин,— никто с ними не считается. Королевская власть еще слаба.

Торговля внутри страны развивалась с трудом, а внешняя торговля была почти немыслима. Чтобы, например, отправить товар из Парижа в Лондон через Руан, нужно было заплатить пошлины в Севре, Нельи, Сен-Дени, Шату, Пекке и многих других пунктах. Многозначительна озорная шутка Гаргантюа, раздосадованного любопытством парижан: «Должно полагать, эти протобестии ждут, чтобы я уплатил им за въезд и за прием».

Франция и в своем внешнем облике сохраняет черты сурового средневековья. Средоточием роскоши, культуры, изящных искусств была тогда Италия, в сравнении с которой родина Рабле казалась глухой и невежественной провинцией. Лет через двадцать после смерти писателя Францию посетил итальянский поэт Торквато Тассо. Вот его впечатление: «Среди тучных полей возвышаются дурно построенные города, с узкими улицами, мрачными домами, большею частью деревянными и разбросанными в беспорядке, в которых тесные, темные витые лестницы ведут в широкие и неуютные помещения».

Государство еще не имело своей постоянной армии. К услугам короля был только небольшой штат телохранителей и немногочисленные войсковые части. Во время войн

набиралось ополчение да привлекались наемники из Швейцарии, Италии, Германии. Флота также еще не существовало. Имелись, правда, военные галеры, но в большинстве случаев они принадлежали частным лицам. Отдельные феодалы на собственные средства содержали войско, владели хорошо укрепленными замками. Естественно, что для них авторитет королевской власти был весьма незначителен.

Словом, крепкого территориального, экономического и политического единства Франции в первой половине XVI столетия еще не было. Его надо было создать. Это была жизненная задача формирующейся французской нации, от решения которой зависело будущее нации, ее прогресс и процветание. «Абсолютная монархия выступает как цивилизующий центр, как объединяющее начало общества» [1],— писал Маркс.

Страшен был Людовик XI (1423—1483) мечом, а чаще коварством и хитростью сколачивавший единство Франции. В ужасе отшатывался простолюдин и уходил в сторону, крестясь и холодея сердцем, завидев мрачный силуэт башен замка Тур де Плесси, где уединенно жил король в последние годы жизни. Но простолюдин знал, что еще хуже раз-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 10, стр. 431.

бойничьи набеги, бесчинства конников-рыцарей, прихоть феодала, постоянная смута и беспокойство в стране, мешающие ему трудиться и пользоваться даже теми крохами, какие ему оставались после налогов и поборов. Расточителен и капризен был Франциск I, но он сумел обуздать своевольных сеньоров, а они были обременительнее, чем самый плохой король. Так рассуждал народ. Рабле это знал. В его книге каждая деталь многозначительна. Кажется, шутки ради дал он, например, список книг библиотеки св. Виктора, но не так-то прост писатель. Разве не многозначительно одно название некой книги — «Намордник для дворянства».

Рабле суров, когда речь заходит о феодалах — князьках, устроителях всяких смут, раздоров, войн. Кажется, что он уже и не смеется, он гневен. Вот их имена: сеньор Плюгав, обер-шталмейстер Фанфарон, герцог де Грабежи, принц де Парша, виконт де Вши и т. п.

Феодальная оппозиция как антипатриотическая сила была враждебна народу. Яркий пример тому являла предательская деятельность Карла Бурбона (1490—1527), коннетабля Франции (второго лица в стране после короля), владевшего огромной территорией (область Бурбоне). Карл Бурбон пошел на сговор с английским королем Генрихом VIII и германским императором Карлом. Желая стать самостоятельным царьком, основателем

нового королевства, он отдавал английскому королю всю остальную часть Франции. Генрих VIII должен был короноваться в Париже. После того как заговор был раскрыт, Карл Бурбон бежал из Франции и потом участвовал в войнах против родины в войсках Карла V.

Вот такие молодчики, которым кружат голову честолюбивые планы, готовы взбудоражить весь мир, залить кровью землю, принести страдания целым народам. В древности такого горе-завоевателя, эпирского царька Пирра, описал Плутарх. Разговор Пирра с философом Кинеем, приведенный Плутархом в «Сравнительных жизнеописаниях», Рабле использовал в своем романе. Здесь Пикрохол говорит с неким «старым дворянином» по имени Эхефрон, что в переводе с греческого означает «Благоразумный». Эхефрон, как и некогда Киней Пирру, советует Пикрохолу не затевать грабительских походов и пользоваться благами мирной жизни. Но советчики царька Буян и Молокосос рьяно настаивают на войне. Распалившийся Молокосос поминает даже страну «Московию», далекую, загадочную, почти недосягаемую по представлениям жителей тогдашней Западной Европы. «Вам стоит только послать московитам краткий, но грозный указ — и в тот же миг под ваши знамена станет четыреста пятьдесят тысяч отборных бойцов. Эх, назначили бы туда меня вашим наместником,—у них бы

лоб на глаза вылез! Растопчу, растреплю, разгромлю, растрясу, разнесу, расшибу!»

Право, книга четырехсотлетней давности оказалась удивительно актуальной для новейших времен, почти пророческой. История узнала подобных «молокососов», безумно рвавшихся к «московитам», чтоб «растоптать, растрепать, разгромить...». История узнала и жалкую судьбу этих «молокососов».

Пикрохол и его окружение олицетворяли для Рабле, для его современников и соотечественников прежде всего, конечно, феодальную анархию. Не случайно второго зачинщика войны короля Дипсодии он называет Анархом.

Войны с Пикрохолом и Анархом Рабле называет междоусобицами, «распря наша не есть еще настоящая война,— вспомним, что Платон в книге пятой De rep., говоря о вооруженных столкновениях греков между собой, вместо слова «война» употребляет слово «смута»,— рассуждает король Грангузье. И Пикрохол и Анарх, личности ничтожные, жалкие, кончили плачевно.

Устами своего героя Панурга Рабле дает резюме всему рассказу о Пикрохоле и Анархе: «Эти чертовы короли здесь у нас, на земле,— сущие ослы: ничего-то они не знают, ни на что не годны, только и умеют, что причинять зло несчастным подданным да ради своей беззаконной и мерзкой прихоти будоражить весь мир войнами».

Рабле осторожен. Вельмож, своих современников или предков этих вельмож-современников, смутьянов и грабителей, он не называет, хотя можно было бы привести не одно имя. Однако, уходя подальше в прошлое, он уже смело указует перстом на некоторых давно почивших лиц, прославившихся в истории Франции грабежами и разбоем. В пятой главе второй книги он называет Жофруа де Люзиньяна, владельца нескольких поместий в провинции Пуату, умершего в 1248 году, свирепого грабителя и авантюриста.

«...Пантагрюэль, вычитав в прекрасных сказаниях о своих предках, что Жофруа де Люзиньян, по прозвищу Жофруа Большой Зуб, дедушка троюродного брата старшей сестры тетки зятя дяди невестки его тещи, был погребен в Майезе, взял отпуск, чтобы, как подобает порядочному человеку, посетить могилу усопшего родича ... и тут при взгляде на его изображение Пантагрюэль струхнул, ибо Жофруа был изображен человеком свирепого вида, наполовину вынувшим свой меч из ножен...»

Осуждая феодальные междоусобицы в стране, Рабле решительно выступает и против всех завоевательных войн вообще. Здесь он значительно опережает своих современников, для которых слава ганнибалов и цезарей обладала притягательной силой. Рабле низвергает эти кумиры. Он пока-

зывает великих завоевателей, имена которых с трепетом и благоговением произносили школьные учителя, в самом смехотворном виде. Эпистемон, побывав «на том свете», узнал, что делали там все эти прославленные авторитеты древности: Сципион Африканский, в одном сапоге, торговал на улице винной гущей, Ганнибал торговал яйцами, Юлий Цезарь и Помпей смолили суда.

Вот чем нужно было им заниматься на земле. Большего они не заслуживали.

Все это, конечно, веселая шутка, шутка с намеком, но Рабле позволяет себе и прямое высказывание по поводу означенных исторических лиц и их деятельности. Добрейший Грангузье весьма определенно выражает точку зрения автора: «Что в былые времена у сарацин и варваров именовалось подвигами, то ныне мы зовем злодейством и разбоем».

Положительные идеалы писателя, касающиеся взаимоотношений народов, абсолютно ясны. Нельзя насиловать волю народов, вмешиваться в их дела, порабощать, угнетать их, врываться в их дом, грабить и притеснять. Все это приведет только к бедам с той и с другой стороны. Пусть народы объединятся в добровольные союзы. Никто тогда не посмеет на них напасть, пусть более сильная страна проявит доброжелательство по отношению к более слабой, и последняя сама придет к ней.

Четыреста тридцать лет тому назад Рабле высказал идею объединения наций: «Среди народов, ныне населяющих материк и острова океана, немного найдется таких, которые не почли бы за честь вступить в ваш союз на условиях, вами самими указанных, и которые бы не уважали неприкосновенность ваших объединенных держав...»

Итак, совершенно ясно высказавшись за национальное единство против центробежных устремлений феодальной оппозиции, Рабле ставит важнейшую политическую проблему, а именно, каким должен быть государь, объединитель нации. Для гуманистов это была одна из главнейших проблем, занимавших их ум.

Гуманисты провозгласили теорию просвещенной монархии. Шекспир, осудив деспотизм (Ричард III), прославил идею единения короля с народом (Генрих V). Путь к мудрости короля идет от общения с народом, от знания его насущных нужд. Юный Генрих, к великому огорчению отца, якшался с простолюдинами. Генрих IV не понимал, что его сын проходит школу жизни, и когда этот последний вступил на престол, то подивил всех умом и трезвостью своих решений. Генрих V знал народ, которым управляет. В этом ключ мудрости монарха.

Король Лир, выброшенный в широкий мир, который он видел до того лишь из окон своего дворца — бездомный бродяга,

нищий,— прозревает. Теперь он начинает понимать народ.

Бездомные, нагие горемыки,
Где вы сейчас? Чем отразите вы
Удары этой лютой непогоды
В лохмотьях, с непокрытой головой
И тощим брюхом? Как я мало думал
Об этом прежде! Вот тебе урок,
Пустая роскошь! Стань на место бедных.
Почувствуй то, что чувствуют они.

(Перевод Б. Пастернака)

И мы верим, что, стань Лир снова во главе государства, он правил бы уже не так. Это был бы мудрый монарх.

В книге Рабле Грангузье, Гаргантюа, Пантагрюэль являются как бы живыми носителями идеи просвещенной монархии. Грангузье сам малообразован, мужиковат, но наделен крепким умом и практической сметкой. Он нисколько не возвышается по культуре над простолюдинами. Он как бы один из них, совсем такой же, только по воле случая оказался в королевском качестве, писатель символически выразил это через его великаньи размеры. Когда он увидел, что сын его Гаргантюа остается неучем в школе схоласта, он незамедлительно передал его в руки Понократа, гуманиста, человека нового направления. И это делает честь его уму. Он не рутинер, он охотно идет навстречу новому, если это новое разумно и полезно. Грангузье не зарится на чужое, справедлив, лишен

какого бы то ни было честолюбия, подчас даже готов поступиться и своим, только бы сохранить мир и благоденствие в стране. Словом, это добрая патриархальная старина, как она мыслилась писателю, несколько невежественная, но хлебосольная, непритязательная, незлобивая. Враги называют Грангузье «мужланом», «пентюхом». Что-то в нем действительно есть от этих кличек: галантности, куртуазности от него ждать нечего. Он будет весело объедаться потрохами, весело любить свою дородную Гаргамеллу, весело и шумно делать все то, что природа предписала делать животным и в том числе человеку, но он разумен. Это истинно мужицкий король. Если в окружении Пикрохола — герцоги, виконты и принцы с колоритными именами де Грабежи, де Парша, де Вши, то рядом с Грангузье нет ни одного титулованного человека. Правитель его канцелярии Ульрих Галле, «человек неглупый и здравомыслящий», но никак не принц или герцог. Рабле воспользовался именем одного шинонского своего знакомого, адвоката, совершавшего однажды от имени города посольство в Париж.

Грангузье отнюдь не идеальный человек, но у него есть одно бесценное качество для короля: «Подданных своих он любит такою нежною любовью, какой ни один смертный от века еще не любил».

Гаргантюа, сын Грангузье, уже более воспитан и образован. Правда, он какую-то часть

своей юности потерял в бесплодных занятиях с учителем-схоластом, но потом под руководством гуманиста Понократа быстро наверстал упущенное, побывал в Париже, приобщился к большой культуре. В его вкусах, привычках, образе жизни многое осталось от быта его родителя. Он так же любит сытно покушать, пображничать, иногда и озорно пошутить. Вспомним его проделку с парижскими колоколами. Но в отличие от отца он уже может похвастаться образованностью. В письме к сыну он начертал широкую программу освоения наук. Темное время «готов» помешало ему стать в полном смысле королем-философом, но теперь он хочет сделать таким своего сына Пантагрюэля. В остальном он продолжает традиции отца — незлобив, разумен, добросердечен и любит своих подданных.

Гаргантюа однажды заявил, сославшись на Платона: «Государства только тогда будут счастливы, когда цари станут философами или же философы царями».

Вот теория просвещенной монархии. Она была по душе Рабле. Таким принцем-философом представлен Пантагрюэль. Для Рабле это идеал государя, идеал человека. Пантагрюэль — самый любимый его герой. Философией пантагрюэлизма окрашена вся книга. В деде и отце Пантагрюэля автор выставлял напоказ неуемную силу самой жизни, буйное торжество плоти, в Пантагрюэле — торжество

интеллекта. В книге Рабле имена играют не последнюю роль в характеристике персонажей. Расшифровка имен многое дает для понимания замыслов автора. Его герой зовется Пантагрюэлем, то есть Всежаждущим.

Монарх и народ — вот две стороны политической проблемы. Для Рабле главное — народ (как позднее и для Шекспира). Мудрость монарха в том и проявляется, что он проводит политику, нужную народу. Если взглянуть на Францию XVI столетия, Францию народную, в основном крестьянскую, то видишь политическую доктрину Рабле в ее поистине благородном свете.

В средневековой Франции национальный доход составлялся в основном из того, что давала земля. Французская пшеница, вина, конопля находили спрос в соседних странах, в Испании, Италии, Германии, Англии. В каком же положении была французская деревня? — Хаотическая неупорядоченность правовых норм царила здесь больше, чем где-либо. В 1453 году по приказу Карла VII каждая провинция начала составлять свод своих законов. В конце XV столетия Людовик XII попытался составить единый свод законов для всего государства, но попытки эти не удались, правовое положение французского крестьянства так и не было унифицировано вплоть до революции 1789 года.

В XVI столетии довольно отчетливо наметилась тенденция к освобождению крестьян от повинностей крепостнического характера. Землевладельцы начали понимать выгоду «свободного» труда и стали отпускать крестьян, конечно за большой выкуп, «на волю». (Процесс частичного освобождения крестьян начался значительно раньше, но задержался в связи со Столетней войной.)

Французские крепостные получили в средние века весьма колоритное название — «крепостных мертвой руки». Крестьянин, собравший трудом всей своей жизни скудное имущество, не имел права передать его сыну, дочери, жене или другому наследнику. Рука его была «мертва» для таких дарений. По его смерти все его имущество переходило в руки сеньора. Последний, конечно, не брал в свое личное пользование земли и жалкого скарба умершего, но требовал от родственников крепостного выплаты одной пятой стоимости имущества. Если крепостной хотел жениться, он должен был платить и за разрешение на брак.

Крепостной платил прямой налог королю (талью), арендную плату за землю (ценз). Кроме того, существовали многочисленные пошлины, косвенные налоги в пользу господина, а именно: крестьянин должен был молоть зерно на барской мельнице, и за это платить, печь хлеб только в барской пекарне и платить, давить виноград только под бар-

ским прессом и платить, соль покупать только у господина и т. д. и т. п.

Он платил церкви, сеньеральному суду, платил многочисленные сборы с жилища, с домашней птицы, скота. Крестьянину запрещено было охотиться и ловить рыбу, «брать зверя в лесу, рыбу в воде, птицу в воздухе».

Крестьяне жили почти без надежд на будущее, в вечном страхе за завтрашний день, в постоянном изнуряющем труде и ужасающей нищете, и если роптали, то этот ропот походил на плач, на молитву, полную глубочайшей печали, обращенную к королю и «пресвятой церкви».

О пресвятая матерь-церковь,
И вы, благороднейший король Франции,
С вашими советчиками,
Дайте стране покой!

Эти слова взяты нами из народной песни той поры. Мира, уверенности в завтрашнем дне, спокойной обстановки для труда — вот, чего жаждал французский крестьянин. Он уже не мечтал о полной свободе, об изобилии, об обеспеченной жизни, он хотел лишь получить элементарную возможность обрабатывать в относительной безопасности землю.

Крупные феодалы с тупой настойчивостью требовали крутых мер по отношению к крестьянам. «Я знаю привычки вилланов: если их не сдерживают чрезмерным бременем на-

логов, то они скоро делаются дерзки... Они не должны поэтому знать свободы, для них нужна только зависимость»,— говорил коннетабль Франции принц Бурбон на собрании Генеральных штатов 1484 года.

Народ жаждал мира и порядка, крупные феодалы требовали войны. «Менippова сатира», великолепное обличительное произведение конца XVI столетия, несколько утрируя, однако в основном не искажая существа вопроса, воспроизводит речь одного из таких воинствующих феодалов: «Я отправлюсь ко всем чертям, если какое-либо правительство начнет говорить о мире, я удеру от него, как от серого волка. Да здравствует война! Только война, откуда бы она ни шла!»

Иногда вековечное терпение крестьян иссякало, и тогда грозная лавина народного гнева обрушивалась на господствующие классы, круша и ломая все на своем пути. Однако, забитые вечной нуждой, погрязшие в беспросветной темноте, без плана, без руководителей восставшие крестьяне, едва обретя власть, терялись и робели и, побушевав, расходились по домам, обрекая себя на новые невзгоды и лишения, на страшную расправу сеньоров.

Могучая сила таилась в этом покорном, забитом, самом многочисленном классе. Рабле сумел оценить эту силу, зреющую в недрах крестьянских масс. Он увидел в хлеборобе не жалкого раба, не полуживотное, в котором

обезображена природа человека, а гиганта, истинного властелина земли, Самсона, закованного в кандалы. И не жалость, не филантропическое сострадание, а благородный гнев за судьбу этого труженика полей клокотал в груди великого писателя. Судьба поставила крестьянина в положение бедняка, но природа щедро одарила его, он много страдал, но его испытания чудеснее всех подвигов Одиссея.

Рабле персонифицировал народ в образе Жана Зубодробителя. Жан — монах, но монашество его так же сомнительно, как и монашество самого Франсуа Рабле. «Он не святоша, не голодранец, он благовоспитан, жизнерадостен, смел, он добрый собутыльник. Он *трудится, пашет землю*, заступается за утесненных, утешает скорбящих, оказывает помощь страждующим, охраняет сады аббатства».

Брат Жан как бы создан для мирного труда. Труд — это его счастье. «За панихидой или же утреней я стою на клиросе и пою, а сам в это время мастерю тетиву для арбалета, оттачиваю стрелы, плету сети и силки для кроликов. Я никогда без дела не сижу». Менее всего думает он о ратных подвигах. Но когда на его родину напали (она для него слилась с садом его аббатства Сейи, того самого аббатства, где провел свое детство Рабле), то он не размышляя идет на врага. Он берет в руки древко от креста и пошел дробить

направо и налево. Силушка у него богатырская. Он же ведь сам народ. «Итак, сделав из своей рясы перевязь, он вышел в одном подряснике и, взмахнув перекладиною от креста, внезапно ринулся на врагов, а враги между тем, нарушив боевой порядок, без знамен, без трубача и барабанщика обирали в саду виноград, ибо знаменщики прислонили знамена и стяги к стене, барабанщики продырявили с одного бока барабаны, чтобы было куда сыпать виноград, в трубы тоже понапихали гроздий,— словом, все разбрелись кто куда, и вот брат Жан, не говоря худого слова, обрушился на них со страшною силой и, по старинке, колотя их по чему ни попало, стал расшвыривать, как котят. Одних он дубасил по черепу, другим ломал руки и ноги, третьим сворачивал шейные позвонки, четвертым отшибал поясницу, кому расквашивал нос, кому ставил фонари под глазами, кому заезжал по скуле, кому пересчитывал зубы, кому выворачивал лопатки, иным сокрушал голени, иным вывихивал бедра, иным расплющивал локтевые кости».

Так как все выведенные в романе персонажи в какой-то степени символичны и Жан Зубодробитель олицетворяет собой народ и главным образом крестьянскую массу, то социальная ориентация писателя совершенно очевидна. Рабле по духу своему демократ. Он питает глубокое уважение к людям физического труда, к созидателям материальных

благ, любуется их моральным обликом, житейской мудростью, стойкостью, гуманным отношением к людям.

Грангузье, мужицкий король, очень трезво рассуждает. «Их трудом я живу, их потом кормлюсь я сам, мои дети и вся моя семья». Это — наставление писателя всему дворянскому сословию. Цените труженика! Имейте уважение к его труду!

Наоборот, стоит Рабле заговорить о дворянах, как все его презрение к ним выливается наружу. Он не в силах сдержаться, не осмеять их, и зло, с большим ядом. Он дает им соответствующие имена: герцог де Лизоблюд, граф де Приживаль, сеньор де Скупердяй, издевается над их бедностью,— а бедность их — от неуемных претензий, от неумения вести хозяйство, от фанфаронства и глупости. Как бы мимоходом писатель замечает: «Босские дворяне до сего времени закусывают блохой, да еще и похваливают, да еще и облизываются».

В уста брата Жана он вкладывает слова примечательные и для тех времен удивительные по смелости и историческому смыслу: «Воспрети им следовать примеру дворян, то есть жить на доходы и ничего не делать».

Вольтер не всегда одобрительно отзывался о Рабле. Его шокировала простонародная грубоватость писателя, но насмешки великого гуманиста над дворянством и осо-

бенно над церковниками были ему по душе. Однажды он писал г-же Дюдефан: «Я перечитал... несколько глав Рабле — «Битва брата Жана Зубодробителя» и «Вольный совет Пикрохола» (я их знаю почти наизусть), но я их перечитал с величайшим наслаждением. Это живейшая картина мира».

Начиная с Третьей книги, на страницах романа стало появляться слово «тиран». Оно, видимо, все более и более беспокоило автора. То он заметит, что тираны «кормятся потом и кровью подвластных», то как бы к слову обмолвится, «что видные посты и должности срывают с человека все покровы, раскрывают всю его подноготную. Иными словами, вы можете узнать наверняка, что это за человек и чего он стоит, только после того как он начнет вершить делами», то вспомнит, что древние греки называли тиранов «демоворами» — пожирателями народа, то, наконец, как бы ненароком сообщит, что «Пантагрюэль никогда не был палачом».

Правда, Рабле по-прежнему именует и Франциска I, и потом его сына Генриха II «мегистами» (греч.— величайший), но это скорее лукавая лесть. Трепета перед королями Рабле никак не испытывает, Карла V, испанского короля и одновременно императора священной Римской империи, он называет «маленьким скрюченным человечком».

Однако иных возможностей для устроения счастья на земле, кроме воли короля, он не видит, а потому в прозрачном иносказании поучает короля, осуждает политику репрессий, призывает его к служению народу, говоря, что не самодержавный деспотизм, не жестокие наказания, костры и пытки, а глубокое понимание нужд народных приведет страну к умиротворению и благоденствию.

Кто знает,— может быть, секретарь Франциска I Клод Бретон де Виландри, которого он поминает в Четвертой книге, улучив добрую минуту, прочтет королю наставительные строки об обязанностях монарха перед подданными, а может быть, и сам королевский чтец, «наиболее сведущий и добросовестный во всем королевстве» Пьер дю Шатель, епископ Тюльский.

Любовь Рабле к народу, к простому люду благородна и возвышенна. Ему, более чем кому-либо другому из его современников, была ясна страшная бездна народной темноты, зрима та пропасть, которая отделяла народ от большой, веками созидавшейся культуры. Осторожно, бережно, с трогательной внимательностью врача прикасается он к ранам народным. «Словно новорожденного младенца, народ должно поить молоком, нянчить, занимать. Словно вновь посаженное деревцо, его нужно подпирать, укреплять, охранять от всяких бурь, напастей, повреждений. Словно человека, оправившегося от продолжительной

и тяжелой болезни и постепенно выздоравливающего, его должно лелеять, беречь, подкреплять, дабы он пришел к убеждению, что во всем мире нет короля и властителя, чьей вражды он больше страшился и чьей дружбы он сильнее бы желал».

.

Гуманисты Возрождения понимали, что разделение людей на сословия несправедливо. Панург при первой встрече с Гаргантюа на искаженном шотландском языке говорит о равенстве людей: «Природа создала нас всех равными, но судьба одних вознесла, других же унизила».

Рабле, как мы видели, с нескрываемым презрением относится к вельможам и всему дворянству вообще и с превеликой симпатией к простому народу, труженикам, постоянно напоминая читателю о социальной несправедливости. Однако гуманисты вовсе не думали о том, что путь к идеальному социальному устройству лежит через революцию, через какие-либо большие социальные конфликты. Идеальное общество рисовалось их воображению как очень далекая, почти несбыточная мечта. Томас Мор назвал свою идеальную страну Утопией (несуществующим местом). Так же именовал и Рабле государство короля Гаргантюа.

Народы только тогда обретут счастье, когда по удачному стечению обстоятельств во

главе их окажется государь-философ. Во Франции гуманисты и в их числе Рабле большие надежды возлагали на Франциска I. Их иллюзии, правда, вскоре рассеялись, и очень трагично. В книге Рабле мы несколько раз встретим имя Франциска I и всегда с самыми возвышающими эпитетами. Последнее, конечно, не без доли лести. Однако какое-то время писатель искренне верил в короля. Эту веру подкрепляла сестра короля Маргарита Наваррская, большой друг, поистине добрый гений французских гуманистов.

ЦЕРКОВЬ

На острове Жалком живет и царствует странное и страшное существо — некий Постник, «великий кротоед», «плешивый полувеликан с двойной тонзурой», «три четверти дня он плачет и никогда не бывает на свадьбах», питается шлемами, кольчугами, касками и шишаками, одевается во все серое и холодное, «спереди ничего нет и сзади ничего нет и рукавов нет». Безобразное его лицо, что вьючное седло, под левой бровью у него отметина, формой и величиной напоминающая ночной горшок.

Постник — явление природы небывалое. Умственные способности его, что улитки, воображение, что перезвон колоколов, разум, что барабанчик.

У него все наоборот: купается он на высоких колокольнях, а сушится в прудах и реках, в воздухе сетью вылавливает морских раков, а в морской пучине — горных козлов. Старых воробьев он проводит на мякине, прыгает выше собственного носа и воюет против столь же загадочных существ — Колбас.

Аллегория Рабле достаточно прозрачна. Перед нами вселенская католическая церковь в своем женоненавистническом, аскетическом, пакостном облике. Все ее установления противоречат здравому смыслу и естеству, все в ней противно человеку и жизни, и тем не менее по какой-то необъяснимой нелепице она существует, владеет душами людей и, кроме того, имеет немалую материальную силу.

«Разнесем этого мерзавца!» — кричит в великом возмущении брат Жан, когда спутник его Ксеноман описал нрав и обычай Постника.

Нет сомнения, что это голос самого автора и негодование его относится к той самой христианской церкви, которая тогда господствовала во Франции, как и во всей Европе. Через двести лет после Рабле вождь просветителей Вольтер снова выбросит тот же лозунг: «Раздавите гадину!»

Сила церкви в XVI столетии была огромна. В феодальной системе Франции она представляла собой особое хозяйственно-полити-

ческое учреждение. Она была крупнейшим владельцем земель и других материальных ценностей. Она имела ряд привилегий в отличие от светских феодалов, привилегий, которые обеспечили ей постепенное накопление бесчисленных богатств и политического могущества.

Третья часть французских земель принадлежала церкви. Пятнадцать архиепископств, восемьсот аббатств, тысячи приоратов собирали доходы церкви. Ее имущество оценивалось к концу XVI века в семь миллиардов франков. Собрав в своих руках огромные богатства, все время пополняя их, церковь превратилась в гигантский нарост на теле государства, в огромную раковую опухоль, которая, разрастаясь все более и более, проникала во все поры хозяйственной и политической жизни страны. Она конкурировала с королем и сеньорами в эксплуатации народа, и те должны были отдать ей пальму первенства в умении обогащаться.

Обман, стяжательство, разврат духовенства вошли в пословицу. Епископ Жан де Монлюк был вынужден осудить своих собратьев, сказав о них так: «Сановники церкви своею жадностью, невежеством, распутною жизнью сделались предметом ненависти и презрения со стороны народа».

Рабле ополчался на монахов прежде всего за то, что они вели паразитический образ жизни. «Монах не пашет землю в отличие от

крестьянина, не охраняет отечество в отличие от воина, не лечит больных в отличие от врача», «монахи только терзают слух окрестных жителей дилимбомканьем своих колоколов».

Народ в массе своей был тогда глубоко религиозен. Он верил искренне и горячо. Но до его сознания доходила мысль, что жизнь церковников, несущих ему слово божье, разительно отличается от проповедуемого ими идеала. И вот появились люди, знающие латынь, ученые и благочестивые, которые стали говорить, что католическая церковь отклонилась от истинного пути и действует по наущению дьявола. Сначала опасливый шепот разносил слухи о новых проповедниках, потом все громче и громче стали раздаваться протестантские речи, и уже теперь никакие пытки и казни не могли их заглушить.

Протестантское движение вскоре обрело своих вождей: Лютера в Германии, Кальвина в Швейцарии. Оно приобрело даже свои территории и стало огромной политической силой.

Протестантская церковь создалась как учреждение формирующегося буржуазного государства, она противопоставляла себя католической церкви прежде всего как государственному учреждению феодальной системы. Теория протестантской церкви несла в себе черты новой буржуазной идеологии и, естественно, была враждебна (конечно, в ограниченном смысле) идеологии феодализма.

В этом заключается ее исторически прогрессивная роль в ряде стран (в Англии, Голландии, Шотландии). «...Кальвинизм создал республику в Голландии и деятельные республиканские партии в Англии и прежде всего в Шотландии» [1],— писал Энгельс.

Так же как в свое время католическая церковь приспосабливала «царство божие» к социальной системе феодализма, так поднимающаяся буржуазия XVI столетия, готовясь или уже совершая революции в земном, реальном общественном устройстве, совершала те же революции в химерическом, но для сознания средневекового человека не менее реальном царстве господа бога.

«...Устройство церкви Кальвина было насквозь демократичным и республиканским; а где уже и царство божие республиканизировано, могли ли там земные царства оставаться верноподданными королей, епископов и феодалов?» [2] — писал Энгельс.

Протестанты заменяли одну форму богословия другой, а сущность религии оставалась той же.

Католицизм культивировал самую ожесточенную религиозную нетерпимость. История знает немалое количество актов фантастических зверств католической церкви, расправ-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 22, стр. 308.

[2] Там же.

лявшейся с инаковерующими. Однако и протестантская церковь была не намного умереннее со своими идейными противниками. В 1553 году в Женеве был сожжен на костре выдающийся ученый эпохи Возрождения Мигель Сервет, сожжен на медленном огне по прямому распоряжению Кальвина.

Как же отнесся Рабле к реформации, к протестантизму? Вот что писал о нем в 1550 году сам женевский владыка новой церкви Жан Кальвин: «Каждому известно, что Агриппа, Вильнев, Доле и им подобные всегда в своей гордыне третировали Евангелие. Другие, как Рабле, Деперье и многие прочие, которых я здесь не называю, первоначально склонявшиеся к признанию Евангелия, впали в подобное же ослепление».

Действительно, первоначально Рабле с некоторой симпатией относился к ранним реформаторам, видя в их протесте против господствующей церкви протест слабых против сильных, угнетенных против угнетателей. Однако потом, когда вышла в свет книга Кальвина «Наставления в христианской вере» (1536), когда протестантская церковь восторжествовала в Женеве и стала столь же яростно преследовать свободную мысль, как и церковь католическая, Рабле с негодованием отвернулся от реформаторов.

В самом мерзостном католики и протестанты одинаковы. Потому у Постника, «ревностного католика и весьма благочестиво-

го»,— «моча что папефига» (папефиги — протестанты).

Словом, Рабле одинаково презирал как тех, так и других, «кучку святош и лжепророков, наводнивших мир своими правилами».

Рабле за терпимость в религиозных вопросах. Пантагрюэль перед битвой с великаном Вурдалаком говорит о том, что человек не должен воевать за бога и принуждать кого-либо к вере. «Ты воспретил нам,— говорит Пантагрюэль, обращаясь с молитвой к богу,— применять в сем случае какое бы то ни было оружие и какие бы то ни было средства обороны, понеже ты всемогущ... ты сам себя защищаешь».

РЕЛИГИЯ

Лет двадцать тому назад во Франции вышла книга Люсьена Февра, довольно основательно изучившего проблему религиозности французских гуманистов,— «Проблема неверия в XVI столетии. Религия Рабле». Февр пришел к выводу, что великие противники церкви были, в сущности, людьми религиозными, что для атеизма в те времена не существовало почвы — не было еще науки.

Если бы такая книга вышла в XVI столетии и ее прочитал сам Рабле, то он был бы немало благодарен автору. Признание себя атеистом было бы равносильно самоубийству.

За атеизм казнили. Правда, в высших кругах уже тогда наметился этакий легкий оттенок нигилизма в религиозных вопросах — результат влияния античной мысли — Демокрита, Лукиана, да и Платона, который вслед за Сократом значительно подорвал у греков веру в олимпийских богов.

Этот нигилизм нравился знати как признак аристократизма мысли, выгодно отделяющей ее, знать, от грубой, погрязшей в невежестве толпы.

Даже папа Лев X иронизировал по поводу мифа о Христе. Нет сомнения, что и Франциск I, решительно вставший на сторону самых реакционных сил церкви по политическим мотивам, сам грешил этим нигилизмом и не без удовольствия читал книгу Рабле. Третья книга «Гаргантюа и Пантагрюэля», вышедшая впервые с именем автора в 1546 году, за год до смерти Франциска I, имела королевскую привилегию, данную на шесть лет.

Рабле рассказывает, что Франциск I не нашел в его книге «ничего предосудительного», правда какой-то «змееглотатель» (Рабле одним словом мог уничтожить своих противников) жаловался на писателя королю, указывая, в частности, на оскорбительную для слуха благочестивого христианина игру слов asme — asne («душа» и «осел»). Рабле оправдывался, что-де это «по недосмотру и небрежению книгоиздателей». Франциск I пришел в негодование, но, очевидно, удовле-

творился объяснением автора. Во всяком случае, кары никакой не последовало.

При желании можно было легко доказать, что автор книги «Гаргантюа и Пантагрюэль» — благочестивый католик, верный служитель господа бога на земле. Если бы это было недоказуемо, то не миновать бы тогда автору виселицы или костра. Поэтому задача новейшего исследователя Люсьена Февра была не из трудных. Рабле постоянно на страницах своей книги черным по белому писал о своем христианском благочестии.

Однако прямые высказывания автора, поклоны и реверансы в сторону христианского бога отнюдь не доказательство религиозности Рабле,— они рассчитаны на простаков. О взглядах писателя говорит дух самой книги, система намеков, иносказаний. Они-то говорят об обратном, о том, что если автор не отвергал божественного начала в природе вообще, то в существование христианского бога он абсолютно не верил. Это совершенно ясно каждому, кто непредвзято будет читать его книгу.

Спрашивается, какой богобоязненный, искренне набожный человек мог бы сказать, например, следующее: «На тех полях такой урожай, словно сам господь там помочился» или: «Эх вы, шляпа! Сам Христос висел в воздухе» (это в разговоре о виселице).

На одной странице он говорит о своей книге, что это «враки и нелепицы», а на дру-

гой обращается к читателю со следующими словами: «Вы не так давно видели, читали и изучали *Великие и бесподобные хроники об огромном великане Гаргантюа* и отнеслись к этой книге с таким же доверием, с каким люди истинно верующие относятся к Библии или же к святому Евангелию».

О молитвах: «...только мне-то она ни к чему, потому как я в нее вот настолько не верю».

Он рассказывает о том, что некий великан Хуртами сидел на ноевом ковчеге верхом и «болтал ногами, как мальчишки на деревянных конях».

О житиях святых: «Писания отшельников и постников — такие же дряблые, худосочные и полные ядовитой слюны».

Рассказав фантастическую историю рождения Гаргантюа, Рабле ссылается на бога: «Ведь для бога нет ничего невозможного, и если бы он только захотел, то все женщины производили на свет детей через уши».

Упомянутый Люсьен Февр полагает, что Рабле здесь нисколько не иронизирует, что с простодушием самым неподдельным он уповает на волю бога, без какой-либо тени сомнения. Однако зачем же, спрашивается, Рабле, сказав о воле небес, тут же явно издевается, сообщая, что некий Роктальд вышел из пятки своей матери, а Крокмуш из туфли своей кормилицы?

И тут же самая откровенная, самая издевательская критика Библии и всех идеологов церкви, критика под видом самого бесспорного благочестия. «Что ж, не верите — не надо, но только помните, что люди порядочные, люди здравомыслящие *верят всему*, что услышат или прочтут. Не сам ли Соломон в Притчах, глава XIV, сказал: «innocens credit omni verbi» (невинный верит каждому слову.— *С. А.*), и т. д.? И не апостол ли Павел в *Первом послании к коринфянам*, глава XIII, сказал: «charitas omnia credit» (любовь верит всему.— *С. А.*). Почему бы и вам не поверить? Потому, скажете вы, что здесь отсутствует даже видимость правды? Я же вам скажу, что по *этой-то самой причине* (!) и должны мне верить, верить слепо, ибо сорбоннисты прямо утверждают, что вера и есть обличение вещей невидимых».

Писатель издевается над идеей загробного мира. Побывавший на «том свете» Эпистемон рассказывает, что папа Сикст лечит там от дурной болезни. «Что такое? — спросил Пантагрюэль.— Там тоже болеют дурной болезнью?

— Разумеется,— отвечал Эпистемон. — Такой массы венериков я еще нигде не видел. Их там сто с лишним миллионов, потому, видите ли, что у кого не было дурной болезни на этом свете, должен переболеть ею в мире ином».

Нет, Рабле не верил в христианского бога. И о тех, кто верил, он довольно непочтительно говорил: «Было бы корыто, а свиньи найдутся».

Каковы же, однако, философские взгляды писателя? Отвергал ли он вообще идею божества?

В Четвертой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля» имеется притча о Физисе (природа) и Антифизисе. В ней содержится ответ на поставленный вопрос. Притчу рассказывает Пантагрюэль. Физис родила Гармонию и Красоту. Антифизис позавидовала ей и родила Недомерка и Нескладу. Она же «произвела на свет изуверов, лицемеров и святош, никчемных маньяков, людоедов и прочих чудищ, уродливых, безобразных и противоестественных». Мысль Рабле ясна: религия — порождение тех сил в обществе людей, которые противоборствуют природе. Все, что исходит от природы, прекрасно и гармонично, все, что противоречит ей — уродливо и безобразно. В аллегорической оболочке Антифизиса скрывается религия, породившая одинаково гнусных папистов и протестантов. «Физис,— пишет Рабле,— родила Красоту и Гармонию без плотского совокупления, так как она сама по себе в высшей степени плодовита и плодоносна». Не высшее существо, не бог, перстом указующий волю небес, создает материальный мир, а сам этот мир материи в себе самом содержит жизненные силы и способность

к созиданию, сам по себе плодовит и плодоносен.

Итак, совершенно очевидно отождествление бога с природой, слияние понятия бога с понятием природы. «По-гречески его (бога.— *С. А.*) вполне можно назвать Пан, ибо он Все: все, что мы с собой представляем, все, чем мы живем»,— писал Рабле (рассказ Пантагрюэля о смерти великого Пана).

Рабле не создал философии пантеизма или атеизма, но он внушал мыслящим читателям глубокое сомнение в догматах христианской религии и вообще в идее какой бы то ни было религии. Иначе говоря, он создал философию сомнения в идее божества. Справедливо писал Бальзак: «Наш дорогой Рабле выразил эту философию изречением... «Быть может», откуда Монтень взял свое «Почем я знаю?».

СУД

Читая Рабле, невольно замечаешь, что наибольшее число насмешек, сатирических выпадов, уничижительных, обличительных эпитетов выпадает на долю церковников. Автор не забывает их ни на минуту, они у него постоянно под прицелом. Но после них идут судьи, адвокаты, прокуроры, чиновники суда, ябедники, сутяжники. Каких только уморительных сцен не рисует автор, чтобы потешить читателя беспросветной глупостью

судей, каких мрачно-убийственных аллегорий не придумывает, чтобы начисто отбить у нас охоту иметь дело с означенным сословием.

Мы на острове Пушистых котов, это и есть аллегорическое изображение царства Суда. «Пушистые коты — животные преотвратительные и преужасные».

Они питаются маленькими детьми. Девизом их служит грабеж. Руки у них всегда в крови, когти, как у гарпии, клюв, как у ворона, глаза, как у исчадия ада. Автор бросает мрачное пророчество: «Помяните мое слово — слово честного оборванца: ежели вам удастся прожить еще шесть олимпиад и два собачьих века, то вы увидите, что Пушистые коты без кровопролития завладеют всей Европой и сделаются обладателями всех ценностей ее и богатств».

Понятно негодование Рабле. Феодальная несобранность Франции XVI столетия проявлялась особенно сильно в том чрезвычайно важном для всякого государства учреждении, каким является суд. Парижский парламент считался главным судебным органом. Однако ему подчинялись лишь старые личные владения короля. Такие же города, как Тулуза, Бордо, Гренобль, Дижон, Руан, имели свои независимые судебные органы. Кроме того, существовали еще суды, непосредственно подчиненные сеньору.

Помимо государственных судебных чиновников (бальи, сенешалов), существовали

сеньериальные судебные чиновники (прево и шателены), которые часто оспаривали у первых право старшинства. Франциск I ограничил в 1536 году сферу действия сеньериальных судов, однако эта мера вызвала бурю протеста в среде крупной знати. Церковь также имела свои особые, независимые от общегосударственной судебной системы церковные суды.

Страшным бичом для страны была латинская терминология судопроизводства. Это понимало тогда и правительство. Франциск I в 1539 году издал эдикт о ведении всей юридической документации на французском языке. Но не так-то легко было провести закон в жизнь. Латынь была для судейских чиновников не только средством поддержания авторитета, но и основой их материального благополучия: она обеспечивала им монополию на толкование темного смысла законов, написанных на непонятном народу языке, что открывало широкий простор для всяких злоупотреблений. Шутка Рабле: «Законы наши — что паутина, в нее попадаются мушки да бабочки» — имела глубокий и трагический смысл.

Судейские чиновники были постоянным объектом насмешек народа. Они настолько мерзки, что даже Люцифера затошнило, когда он съел душу одного из них, рассказывает насмешливый писатель.

Рабле создал незабываемый образ судьи-простачка. Имя его стало нарицательным (Бридуа — Придурковатый).

Бридуа сорок лет исправно нес службу. За это время он вынес четыре тысячи «окончательных приговоров». Все его решения были признаны в высшей инстанции правильными. А действовал он очень просто: долго и кропотливо собирал документы, касающиеся судебного дела,— просьбы, жалобы, повестки, распоряжения, свидетельские показания, возражения, справки, первичные, вторичные, третичные объяснения сторон и пр. и пр. После этого, не мудрствуя лукаво, бросал кости и в соответствии с выпавшими очками решал дело. «Я наудачу бросаю кости и решаю дело в пользу того, кому на счастье выпадет больше очков, и этот способ решения дел есть способ истинно юридический, способ, достойный трибуна и претора». Бридуа прибегает к обширным латинским цитациям, как и полагается настоящему судье.

— Зачем же тогда вы собираете всю судебную документацию? — весьма резонно спрашивают Бридуа.

Последний отвечает, что это служит ему «почтенным и полезным упражнением», но главное для проформы: «Без соблюдения проформы приговор не может быть признан действительным... Притом, вы и сами отлично знаете, что в судебном процессе формальности часто убивают содержание и существо

дела...» С милым простодушием Бридуа выбалтывает секреты судопроизводства.

Через двести лет раблезианский простачок в судейской мантии предстанет в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

— Господин Бридуазон, да вы в мантии! — восклицает, завидев его, граф Альмавива.

— ...я всегда в этом костюме,— фо-орма, знаете ли, фо-орма! Над судьей в кургузом кафтанчике, может, кто и посмеется, а уж при виде прокурора в мантии невольно в дрожь бросит. Фо-орма, фо-орма! — отвечает Бридуа, получивший у Бормаше ласкательное имя Бридуазон.

Рабле — Бомарше. Литературная ли только здесь традиция? Скорее традиция общественно-политическая. Одно и то же социальное зло волновало писателей, отделенных друг от друга двумя веками, ибо зло это еще продолжало существовать в действительности.

ШКОЛА

Возвышаясь на целую голову над своими современниками, гуманисты понимали, что человечество стоит у порога истины, но переступить этот порог не может, ибо не может свободно распоряжаться чудодейственным даром природы — разумом. Просветительская программа Рабле неразрывно связана с его

нравственной программой. Перед личностью он ставил две задачи — «жить как должно» и «постоянно совершенствоваться». «Мудрость в порочную душу не входит», но и «знание, если не иметь совести, способно лишь погубить душу».

Средневековую школу он решительно осудил, осудил метод схоластической зубрежки, забивающей память далекими от практических нужд «знаниями», метод, нравственно и интеллектуально калечащий личность. При этом писатель отверг и все те науки, которые составляли тогда предмет обучения, всю ту «премудрость», которую вдалбливали в детские головы средневековые школы.

Чему обучал софист Тюбаль Олоферн Гаргантюа? (Глава XIV, книга первая.) Он «прочел с ним Доната, а также Фацета, Тэодоле и «Пораболы» Алана, на что ушло тринадцать лет, шесть месяцев и две недели»,— иронически пишет Рабле.

Грамматика Доната была создана еще в IV веке. Нечего и говорить, что для XVI столетия она более чем устарела, учебник Теодоле содержал опровержение язычества и защиту христианства. Эти книги не просто читались, а заучивались наизусть, слово за словом, фраза за фразой.

Рабле нисколько не выдумывал, не преувеличивал. Названные им книги составляли предмет обучения не только в школах Франции. Ульрих фон Гуттен в «Письмах темных

людей» упоминал тех же школьных авторов. Эразм Роттердамский писал о них, не осмеливаясь еще посягнуть на авторитет Доната.

Рабле не преувеличивал, когда указывал на ту непроходимую пропасть, которая отделяла школу от жизни, от реального мира с его практическими запросами и нуждами. Если взглянуть на распорядок дня одной из французских школ той поры (коллежа Монтегю), то можно без преувеличения сказать, что бедные создания, заключенные в стенах школы, не слышали не только живого человеческого слова, но не видели даже лучей солнца. В 4 часа подъем, до 6 часов урок. В 6 часов богослужение, с 8 до 10 — урок, с 10 до 11 упражнение в искусстве диспута и аргументации, в 11 — обед, после обеда проверка усвоенного, с 15 до 17 часов — урок, в 17 вечерня, далее снова упражнения в диспуте, в 18 — ужин, потом экзамен и в 20 часов отход ко сну. С утра до вечера чужой язык, мертвая латынь, не та золотая латынь, на которой говорили Вергилий и Цицерон, а исковерканная, книжная, варварская латынь католической церкви.

Гуманист Понократ в книге Рабле с великим возмущением говорит об этом коллеже: «...Такие чудовищные творятся в Монтегю жестокости и безобразия. Мавры и татары лучше обращаются с каторжниками, в уголовной тюрьме лучше обращаются

с убийцами, и, уж верно, в вашем доме лучше обращаются с собаками, чем с этими горемыками в коллеже Монтегю. Черт возьми, будь я королем в Париже, я бы сжег коллеж, а с ним и его начальника, и всех его надзирателей, коль скоро они допускают такое зверское обращение».

Отвергнув науку и школу средневековья, Рабле раскрыл перед современниками новый, гуманистический метод воспитания человека. Грангузье пригласил к своему сыну другого наставника — ученого гуманиста Понократа, и тот в первую очередь заставил своего ученика забыть всю преподанную ему ранее науку (гл. XXIII, XXIV, кн. 1). Ни одного часа в жизни Гаргантюа теперь не проходит даром, все целесообразно использовано. Изучение практических наук и искусств связано с физическими упражнениями, и рост интеллектуальный сопутствует физическому развитию ребенка.

Гаргантюа изучает не христианские догмы, а свойства природы, математику, геометрию, астрономию. Занятия показались ему теперь «такими легкими, приятными и отрадными, что скорее походили на королевские развлечения»,— пишет Рабле.

Не только науки, изучаемые Гаргантюа, связаны с жизнью, но и сам процесс обучения детей идет от практики, от жизненных наблюдений, от общения ребенка с реальным миром. Ночью, когда Гаргантюа видит звезд-

ное небо, ему рассказывают о вселенной, днем, когда он садится за обеденный стол, ему объясняют происхождение тех продуктов питания, которые он ест. И мир в его связях и единстве, в практике человеческого труда раскрывается ему.

Программа обучения, разработанная Рабле, универсальна, энциклопедична. Человек должен овладеть основами всех наук, мечтал Рабле. О том же мечтали все гуманисты, как во Франции, так и в других странах.

ТЕЛЕМА

Гениальный Гамлет, сын славной эпохи Возрождения, с тоской и обидой за поруганную природу человека восклицает: «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям! В поступках как близок к ангелу! В воззрениях как близок к богу! Краса вселенной! Венец всего живущего!»

Это святая святых гуманистов, квинтэссенция их доктрины. Они восхищаются человеком, его физическим обликом, его интеллектом. Но в человеке, отклонившемся от велений и установлений природы, все им мерзостно и отвратительно (Недоноски и Несклады, родившиеся от Антифизиса по аллегории Рабле).

За полвека до Шекспира славицу Человеку находил читатель в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Правда, мысль подавалась здесь в шутовском наряде балагурства, читатель не всегда видел грань, отделяющую серьезную речь от скоморошеских острот не всегда знал, где кончается озорство и начинается дельное, но таков уж Рабле, его надо принимать таким, каков он есть.

Рассуждая о достоинствах гульфика, его несравненный герой Панург высказывает самую примечательную мысль, едва ли не главную для автора.

Природа создала человека «существом одушевленным, говорю я, созданным для мира, а не для войны, существом одушевленным, созданным для того, чтобы наслаждаться всеми дивными плодами и произрастающими на земле растениями, существом одушевленным, созданным для того, чтобы мирно повелевать всеми животными».

Рабле поет восторженный гимн уму человеческому, так много открывшему в мире, так много сделавшему для человека, но и эта славица дана в виде веселого балагурства. Рабле издевается над людьми, живущими *для чрева*, рассказывает о странном существе по имени Гастер (желудок).

Мы уже представляем себе ненасытных обжор, всё подчиняющих чревоугодию. И тут автор, перестав смеяться, начинает говорить с нами серьезно и озадачивает нас самым

неожиданным заключением: Гастер (желудок) «облагодетельствовал нас тем, что изобрел все науки и искусства, все ремесла, все орудия, все хитроумные приспособления». Да возможно ли это? Вы просто издеваетесь над нами, милейший Рабле! Желудок и прогресс!

А ведь не шутит Рабле. В самом деле, разве нужда не изобретательна? Разве потребность не есть подлинный двигатель прогресса?

Прогресс! Вся книга Рабле, веселая и шутовская, умная и парадоксальная, наполненная скабрезностями и самыми возвышенными идеями, говорит нам о главном: плохо устроен человеческий мир. Как же прекрасна могла бы быть жизнь людей, если бы... если бы...

Брату Жану поручает автор создать новое общество, новую идеальную организацию человеческого общежития.

Здесь перед нами раскроется одна из интереснейших страниц истории европейского гуманизма.

Гуманисты были не только критиками пороков средневековья, не только ниспровергателями дутых авторитетов, но и величайшими мечтателями.

Эпоха Возрождения породила не один проект создания идеального общества. Широкой известностью пользовалась среди гуманистов книга Томаса Мора «Утопия». Напомним еще

раз, что царство, где живут раблезианские короли-великаны, тоже Утопия.

Все гуманисты мечтали о счастье человеческом, все они ломали голову над тем, почему люди живут плохо, грязно, эгоистично, почему непостижимый хаос царит на земле?

Рабле видел корень зла в насилии над человеком. Человек должен быть свободен. Свободу человека Рабле понимал в широком гуманистическом плане, как возможность располагать собой, не подвергаться принуждению, действовать всегда и везде только сообразно своим желаниям. Он освободил человека от экономической зависимости, дав ему благосостояние, иначе говоря свободу и в удовлетворении своих экономических нужд.

Брат Жан после окончания войны получил от короля аббатство Телема. В переводе с греческого это значит «желанная». Там он так устроил жизнь людей, что о ней поистине можно говорить как о жизни *желанной*.

«Вся их жизнь была подчинена не законам, не уставам и не правилам, а их собственной доброй воле и хотению... Их устав состоял только из одного правила: делай что хочешь...»

У читателя, естественно, возникал вопрос: разве не будет тогда анархии, разгула диких страстей, безнаказанности преступлений?

Рабле отвечал, указывая на социальные корни человеческих пороков: «...людей сво-

бодных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительной силою, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью. Но когда тех же людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл, с которым они добровольно устремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить с себя и свергнуть ярмо рабства, ибо нас искони влечет к запретному, и мы жаждем того, в чем нам отказано».

Следовательно, задача состоит в том, чтобы избавить человека от принуждения, от рабства. Человек должен быть свободен не только от насилия со стороны человека, но и от того неумолимого палача человеческих желаний, стремлений, крылатой человеческой мечты, имя которому — нужда. Обитатели Телемы свободны, равны и обеспечены.

Телемиты счастливы, доброжелательны друг к другу и прекрасны как физически, так и духовно. В этом мире абсолютной свободы распустились удивительные и благоуханные цветы человеческих дарований: телемиты — поэты и музыканты, ученые и одновременно артисты. Их интеллектуальные интересы разносторонни, знания энциклопедичны. Мечта Рабле поистине светла и лучезарна, перед ней блекнут суровые проекты Томаса Мора, в утопическом государстве

которого провозглашен принцип умеренности человеческих желаний.

Однако откуда же телемиты черпают материальные блага, откуда берутся прекрасные платья, тонкие вина, вкусные яства? Вот что по этому поводу пишет Рабле:

«Не думайте, однако ж, что мужчины и женщины тратили много времени на то, чтобы с таким вкусом и так пышно наряжаться,— там были особые гардеробщики, каждое утро державшие наготове любую одежду, а также горничные, умевшие в мгновение ока одеть и убрать даму с ног до головы. А чтобы телемиты никогда не ощущали недостатка в одежде, возле телемского леса было построено огромное светлое здание в полмили длиною и со всеми возможными приспособлениями,— там жили ювелиры, гранильщики, вышивальщики, портные, золотошвеи, бархатники, ковровщики, ткачи, и каждый занимался своим делом и работал на телемских монахов и монахинь».

Рабле, как видим, не избег того тупика, в который заходили многие мыслители, мечтавшие о равенстве людей. Если будут все равны, кто же будет работать? — спрашивали их. Томас Мор попытался в какой-то мере решить этот вопрос, введя в утопическом государстве обязательный всеобщий труд, однако и он допускал рабство (для работ обременительных и неприятных). Рабле устроил в своей Телеме «чистые и светлые» работные

дома. Очевидно, что для тех времен еще не настала пора реально ставить вопрос о творческой сущности труда, о том, что труд, освобожденный от пут эксплуатации, станет радостным, необходимым для самого человека, превратится в нравственную и физическую потребность и что, следовательно, исчезнет необходимость принуждения одних другими.

Позже, в Третьей книге, сокровенная мечта Рабле об идеальных человеческих отношениях звучит в иронической, насмешливой, цинично-нигилистической по форме речи Панурга, названной «Похвальным словом заимодавцам и должникам»: «Ни тяжб, ни раздоров, ни войн; ни ростовщиков, ни скряг, ни сквалыг, ни отказывающих. Господи боже, да ведь это будет золотой век, царство Сатурна, точный слепок с олимпийских селений, где все добродетели отмирают, одна лишь любовь к ближнему царит надо всем, властвует, повелевает, владычествует, торжествует. Все будут добры, все будут прекрасны, все будут справедливы. О счастливый мир!»

В Третьей книге, рассказывая о чудесных свойствах травы пантагрюэлона, возбуждающей в людях жажду знаний, Рабле,— поистине гениальный провидец,— рисует оптимистическую картину грядущей судьбы человечества. Мы многое узнаем в этой картине из того, что в XVI веке казалось невозможным, недостижимым, фантастическим и что

стало в наши дни явью, фактом действительности. «При помощи этого растения существа невидимые видимо улавливаются, задерживаются, захватываются и как бы в темницу заключаются; как скоро их улавливают и задерживают, тот же час огромные и тяжелые жернова начинают легко вращаться к явной выгоде для рода человеческого... Боги Олимпа воскликнули в ужасе: «Благодаря действию и свойствам своей травы Пантагрюэль погружает нас в столь тягостное раздумье, в какое не погружали нас даже алоады (гиганты, пытавшиеся проникнуть в жилище богов.— *С. А.*). Он скоро женится, у него народятся дети (образование станет достоянием многих. Это имеет в виду Рабле.—*С. А.*). Изменить его судьбу мы не в состоянии, ибо она прошла через руки и веретена роковых сестер, дочерей Необходимости (Рабле снова подчеркивает, что исторический процесс совершается не волею случая, а имеет определенную закономерность.— *С. А.*). Может статься, его дети откроют другое растение, обладающее такою же точно силой, и с его помощью люди доберутся до источников града, до дождевых водоспусков и до кузницы молний, вторгнутся в область Луны, вступят на территорию небесных светил и там обоснуются, ...и станут сами как боги».

ИСКУССТВО РАБЛЕ

«Рабле непостижим. Его книга — загадка. Что бы там о ней ни говорили. Загадка необъяснимая. Это химера. Это лицо прекрасной женщины с ногами и хвостом змеи или какого-нибудь другого животного, еще более нелепого. Это чудовищное смешение морали, тонкой и возвышенной, с грязной испорченностью. Там, где он плох,— он плох до предела,— тогда он бог черни,— там, где он хорош, он превосходен, он — совершенство, он доставляет нам самые изысканные наслаждения».

Лабрюйер, писатель XVII столетия, соотечественник Рабле, мыслитель и тончайший стилист, не захотел сказать ничего, кроме этого. Он, конечно, очень хорошо разобрался в аллегориях Рабле, иначе он не был бы Лабрюйером. Он не мог понять лишь одного, как Рабле и другой знаменитый человек XVI столетия, поэт Клеман Маро, при их уме и таланте позволяли себе шутовство в серьезных вопросах.

Слово, брошенное однажды, понравилось. запомнилось. О загадочности Рабле уже говорили, как о чем-то совершенно бесспорном. «Рабле никто не понял»,— писал в XIX веке Виктор Гюго, и все же Рабле «разгадывали», толковали, кто как мог.

О его книге спорили без конца, спорили более четырехсот лет. Одних она восхищала, других доводила до исступления. Одни видели в ней безобидное шутовство, другие — смелость мысли и глубочайшие философские прозрения. Одни порицали автора за дерзновенное посягательство на утвержденные веками принципы жизни, другие хвалили его за это. Словом, бранили и смеялись, проклинали и превозносили, или в недоумении разводили руками: кому же было неизвестно, что мэтр Рабле обладал познаниями самыми обширными, что второго такого по уму и учености вряд ли можно было сыскать во Франции первой половины XVI столетия, а вот, поди же, занимался «побасенками».

Один францисканский монах, написавший историю своего ордена, перечисляя всех знаменитых людей, так или иначе причастных к ордену, упомянул Рабле (писатель жил одно время во францисканском монастыре).

С великим недоумением монах сообщал: «Имея способности писать учено и серьезно о медицине, он (Рабле.— *С. А.*) предпочел соревноваться с Лукианом... Он писал о пустяках, но эти пустяки, оставаясь пустя-

ками, соблазняли самых ученых читателей и доставляли им невероятное удовольствие».

Книга Рабле — поистине страна чудес. Вы будто на маскараде. Со всех сторон на вас наступают уродливые маски. Они шумят, кривляются, хохочут, издеваются над вами, вы хотите отвернуться, но вот маски сброшены, и перед вами милые лица, причем под маской пьяницы и обжоры сам доктор Рабле, он протягивает вам свою руку, улыбается вам, его глаза искрятся умом, веселой шуткой, и речь его полна мысли, высоких чувств и идеалов.

— Да, зачем же вам понадобился этот шутовской наряд, весь этот маскарад? — спрашиваете его вы. И он, смеясь, сошлется на Сократа, который с виду был отменно некрасив — и курнос, и со смешной повадкой, и в одежде грубой,— но обладал «божественной мудростью», он расскажет вам о том, что в старину были ларчики с потешными фигурками, нарисованными на них. «Но откройте этот ларец — и вы найдете внутри дивное, бесценное снадобье: живость мысли сверхъестественную, добродетель изумительную, мужество неодолимое, трезвость беспримерную, жизнерадостность неизменную, твердость духа несокрушимую и презрение необычайное ко всему, из-за чего смертные так много хлопочут, суетятся, трудятся, путешествуют и воюют».

И все же зачем понадобилось писателю прятать свое «дивное бесценное снадобье:

живость мысли сверхъестественную, добродетель изумительную, мужество неодолимое» и пр. и пр. в ларчик с «потешными фигурками», зачем понадобилось рассказывать о «нелепостях, дурачествах и разных уморительных небывальщинах»? Разве не проще было бы прямо, не прибегая к иносказаниям, передать читателю то, что он, писатель, назвал «мозговой субстанцией», а именно политические, философские и нравственные идеи свои, ради чего, собственно, он и взялся за перо?

На этот вопрос Рабле не ответит. Догадывайтесь сами. Он лишь намекает, что хотел бы быть «желанным гостем в любой приятной компании пантагрюэлистов», что отличает читателей «мудрых», способных «унюхать, учуять и оценить превосходные, лакомые книги», что пожелал бы своим читателям «прилежного чтения и долгих размышлений».

Нет, не прост Рабле! Смеется и балагурит, будто и спроста, но глядит на вас с ожидающей лукавинкой: догадались или нет, поняли, к чему ведет, или мимо проехало? Конечно, его, писателя, дело сторона. Он рассказал — и все. Читатель сам делает свои выводы. Если этот вывод опасен и крамолен, то при чем тут он, писатель? Вольно ж было читателю понимать его превратно! А он, писатель, и в мыслях такого не держал. Он, слава богу, добрый христианин и отличный слуга королей французских и пап римских, коих ему довелось повидать на своем веку.

И пожалуйста, не кивайте на него, писателя. С инквизицией шутки плохи, а он, Рабле, и так горячий человек, чтобы ему еще поджариваться на костре.

Итак, Рабле, очевидно, зашифровал свои мысли, чтобы не попасть на костер, как его друг Этьен Доле. Однако неужели секрет его искусства заключается в этой вынужденной тайнописи?

А если бы Рабле писал в другое время, когда не нужно было бы ничего утаивать, скрывать, когда можно было бы писать и говорить обо всем свободно? Что тогда? Неужели мы лишились бы чудесной, так много говорящей уму раблезианской недосказанности, лукавых иносказаний, за которыми угадывается бескрайняя даль мысли? Неужели мы лишились бы веселой иронии, забавного чудачества, когда не знаешь, как отличить правду от шутки, когда чувствуешь, что тебя мило дурачат, потешаются над тобой и в конце концов дают тебе сильную, будоражащую умственную зарядку?

Нет, очевидно, вопрос сложнее. Здесь органическое единство формы и содержания. Мысль Рабле, освобожденная от своеобразной формы ее выражения, что-то утратит, чего-то лишится в себе самой. И, с другой стороны, отнимите у раблезианской шутки ее философический, политический, нравственный подтекст, и она рассыплется в прах, как хрупкая оболочка.

Книга Рабле весела. Мы часто смеемся. Как и ее герои. Они смеются громко, раскатисто, от всей души. Они смеются, потому что им весело, потому что нельзя не смеяться, потому что в их телах через край льется здоровье и жизнь. Они смеются потому, наконец, что не знают предела своим силам.

И эта сила, это физическое и нравственное здоровье героев книги мощным потоком переливается в наши тела и души. Мы тоже становимся сильными и крепкими. Аристотель когда-то подметил, что в смешном есть частичка уродства. Уродливое может пугать, если оно становится вровень с нами и угрожает нам. Если же мы чувствуем свое превосходство над уродством, мы смеемся над ним. Мы смеемся над монахами, над схоластами-сорбонниками, над королями типа Пикрохола и Анарха, над дворянами, каким-нибудь герцогом де Карапуз или герцогом де Парша,— потому что они уродливы и жалки. Мы смеемся, потому что мы сильнее их. Писатель внушил своему читателю сознание превосходства над темными силами, между тем как реально эти силы были не так уж ничтожны в его времена. Рабле называет монахов «бичами веселья». Это очень знаменательно. Сама философия христианства отвергает радость и, следовательно, смех. Откройте Библию, и вы найдете там изречение Экклезиаста: «О смехе сказал я: Глупость!»

Потому сам смех Рабле есть элемент его

жизненной философии. Здесь мы должны поговорить о слове «пантагрюэлизм». Для понимания нравственного кредо писателя оно абсолютно необходимо. Рабле вкладывает в него огромный смысл.

Уже в XVI веке установился во Франции термин «пантагрюэлизм». Книги Рабле стали называть «пантагрюэлистическими историями». В XXXIV главе второй книги писатель так определяет значение этого термина: «Жить в мире, в радости, в добром здравии, пить да гулять». В прологе к Четвертой книге Рабле уже дает философское толкование: «Это глубокая и несокрушимая жизнерадостность, перед которой все преходящее бессильно». Что же имеет в виду Рабле под «преходящим»? Все враждебное природе и человеку и потому обреченное, в силу своей никчемности, на исчезновение с лица земли. Сознание временности и случайности дурного в человеческом обществе делало Рабле оптимистом. Красота и Гармония, порожденные природой, будут жить вечно, пакостные дети Антифизиса погибнут. Рабле избегал прямых столкновений с богословами. В 1542 году, в пору свирепствующей реакции, переиздавая первые книги своего романа, он многое зашифровал, смягчил или вовсе удалил из текста. Так, фраза Панурга: «Разве Иисус Христос не повис в воздухе?» — была им опущена. Но книга его оставалась такой же веселой и бодрой, вселяющей веру в человече-

ские силы. С философским спокойствием он относился к жизненным неудачам, неизбежным печалям. Его последние слова, как гласит легенда, были полны «веселости духа»: «Опустите занавес, фарс окончен!»

Художественное средство, к какому прибег он, создавая свое произведение, было «драгоценное искусство смеяться над врагами», как пишет Анатоль Франс, смеяться «без ненависти и гнева», ибо презрение исключает и ненависть и гнев.

Понятие пантагрюэлизма для Рабле очень объемно. Это его личное философское и нравственное кредо. Так, в XIX столетии Стендаль любил называть некоторые своеобразные свои взгляды на вещи «бейлизмом», производя это слово от своего имени (его звали, как известно, Анри Бейль).

В начале второй книги своего романа Рабле пускается в филологические изыскания для соответствующей интерпретации слова «Пантагрюэль». «Отец дал ему такое имя, ибо *панта* по-гречески означает «всё», а «грюэль» на языке агарян означает «жаждущий»... отец в пророческом озарении уже провидел тот день, когда его сын станет владыкою жаждущих».

Агарянами в средние века называли мавров. Слово же «Пантагрюэль» французского происхождения. Оно часто встречается в мистериях XV века, как имя демона, вызывающего у людей неутолимое чувство жажды.

Что это за *жажда,* которую испытывает Пантагрюэль, а также все те, кто соприкасается с ним, да и сам автор, который не раз сообщит о себе: «Я по натуре своей подвержен жажде»?

В шутовском балагурстве повествования слово «жажда» идет в соседстве с вином и веселой попойкой («пить да гулять»). Путешественники едут к оракулу Божественной Бутылки, находят Бутылку, и последнее пророчество ее «Тринк» — Пей! — как бы завершает общую картину, давшую поэту Ронсару основание изобразить писателя веселым пьянчугой. Но это все — шутовство, за которым скрывается философия жизни. Меньше всего Рабле, конечно, думал о вине и попойках. Это ради смеха. Поймут в буквальном смысле, ну что ж, тем хуже для них. Но найдутся среди читателей такие, которые догадаются, к чему клонит автор, о какой «жажде» он говорит. Вот для этих-то читателей, проницательных и догадливых, и старается автор, они и есть его настоящие читатели.

«Слово *тринк*,— толковала жрица,— ...известно и понятно всем народам и означает оно: *Пей!.. я* разумею доброе холодное вино. Заметьте, друзья: вино нам дано, чтобы мы становились как боги, оно обладает самыми убедительными доводами и наиболее совершенным пророческим даром. Ваши академики, доказывая, что слово *вино*, по-гречески oivos, происходит от слова vis, что значит

сила, могущество, только подтверждают мою мысль, ибо вину дарована власть наполнять душу истиной, знанием и любомудрием».

Под буффонной аллегорией оракула Божественной Бутылки скрывается призыв пить из светлого источника знаний, пить мудрость жизни. Не случайно Стендаль говорил: «Каждый философ заново открывал знаменитый завет Рабле, заключенный в глубине его Божественной Бутылки».

Слово «жажда» приобретает, как видим, глубокий смысл. Жажда — вечное искание истины, вечная неуспокоенность, пытливая энергия человеческого ума. «Философы ваши ропщут, что все уже описано древними, а им-де нечего теперь открывать, но это явное заблуждение»,— пишет Рабле и далее: «Философы поймут, что все их знания, равно как и знания их предшественников, составляют лишь ничтожнейшую часть того, что есть и чего еще не знают».

Итак, пейте из источника знаний, пейте из кладезя мудрости, он неисчерпаем, и чем больше у вас жажды к знаниям, тем больше в вас пантагрюэлизма!

Однако вечная неуспокоенность вашего разума, вечная неутомимая жажда знаний, которая мучит вас, не делает вас еще до конца пантагрюэлистами. Нужно еще нечто. Что же это такое? — Олимпийское спокойствие вашего духа. Поднимитесь над суетой сует всех мелких страстей человеческих,

станьте выше их, не омрачайте свою жизнь тщеславием, злобой, завистью. Взгляните на ваши волнения, тревоги, заботы с высоты вечности, и они вам покажутся ничтожными. Право, жизнь такая драгоценная и такая уникальная вещь, что портить ее суетой житейских треволнений неразумно. Взгляните на несравненного Пантагрюэля.

«Я уже вам говорил и еще раз повторяю: то был лучший из всех великих и малых людей, какие когда-либо опоясывались мечом. Во всем он видел только хорошее, любой поступок истолковывал в хорошую сторону. Ничто не удручало его, ничто не возмущало. Потому-то он и являл собой сосуд божественного разума, что никогда не расстраивался и не волновался. Ибо все сокровища, над коими раскинулся небесный свод и которые таит в себе земля, в каком бы измерении ее ни взять: в высоту, в глубину, в ширину или же в длину, не стоят того, чтобы из-за них волновалось наше сердце, приходили в смятение наши чувства и разум».

Мы уже приводили строки Флобера о том, что произведения Гомера, Рабле, Микеланджело, Шекспира, Гете дают ощущения высшего покоя («Это идеальный свет, улыбка солнца и такой покой, такой покой! А сколько силы!»). Флобер, конечно, имеет в виду не покой апатии и равнодушия, не покой бездействия, но то сознание величия Человека на земле, которое позволяет ему, Челo-

веку, быть спокойным, избегая «смятения чувств и разума», чему учит пантагрюэлизм.

Потому Рабле весел. Потому он не только осмеивает, но и смеется.

Смех нельзя было изгнать из жизни, его нельзя было изгнать и из искусства. Даже церковные проповедники иногда допускали смешное, делая самое неожиданное употребление из комического. Оказывается, дьявол, отчаянный насмешник, не терпел насмешек над собой. «Лучший способ изгнать Дьявола, когда на него не действует Священное писание, поднять его на смех, этого он никак не выдерживает»,— наставлял свою паству Мартин Лютер.

В мрачные времена средневековья безымянные авторы создавали фабльо и шванки, веселые новеллы, смеясь над попами, рыцарями или незадачливыми служителями ада. Тогда же была создана комическая эпопея — «Роман о Лисе». Церковь изгоняла скоморохов, но народ в них души не чаял. В деревне или в городе на ярмарочной площади они потешали толпу. Шутки их были грубоваты, но они веселили сердце. Смех — неотъемлемый элемент бытия человеческого.

Человек — единственное живое существо, умеющее смеяться, заметил Аристотель.

Рабле — оптимист по мировоззрению, по восприятию мира, он оптимист по своему художественному методу, по способу изображать мир. Оружие Рабле — смех. Это не

только средство уничтожения идейных врагов, но и могучее средство утверждения жизни. Будем же смеяться, ибо смех есть достояние сильных!

Книгу Рабле нельзя назвать романом в современном значении этого слова. В ней нет четкого развития сюжета, многосторонней характеристики образов. Автор менее всего занимается психологией героев. Не в том он видел свою задачу.

Правда, неповторимое своеобразие речи персонажа неожиданно ярко освещает перед читателем живого человека во всей его индивидуальности. Иногда писатель ни одного слова не дает сказать своему персонажу, не тратит слов на описание его внешности, и тем не менее персонаж этот живет в воображении читателя. Вот как король Анарх стал продавцом зеленого соуса.

«Перед вами первостатейный король. Я хочу сделать из него порядочного человека. Эти чертовы короли здесь у нас, на земле,— сущие ослы: ничего-то они не знают, ни на что не годны, только и умеют, что причинять зло несчастным подданным да ради своей беззаконной прихоти будоражить весь мир войнами. Я хочу приспособить его к делу — научу его торговать зеленым соусом. А ну, кричи: «Кому соуса зеленого?»

Бедняга прокричал.

— Низко взял,— заметил Панург и, схватив короля за ухо, принялся наставлять

его: — Бери выше: соль-ре-до! Так, так! Недурная, черт побери, глотка! Право, только теперь, когда ты перестал быть королем, для тебя начнется счастливая жизнь».

Здесь целая картина. Жалкий, трусливый, глуповатый Анарх ведет себя перед Панургом, как нашкодивший плут. Вот, боясь собственного голоса, пытается он повторять за Панургом диктуемую фразу, вот, осмелев, кричит громко и счастлив, что заслужил похвалу человека, который держит его за ухо. Панург прав: он никогда не был так счастлив, как теперь, этот бывший король, этот «повелитель» с психологией раба. Рабле не испытывает ни гнева, ни ненависти к бывшему королю, скорее даже проявляет к бывшему зачинщику войны презрительное снисхождение.

Картина эта вместе с тем полна пантагрюэлизма. В ней заключена та веселость духа, о которой говорит Рабле. Весело совершает свое дело Панург; весело рассказывает свою историю Рабле, и веселость эта — от сознания своей силы, своей правоты, от презрения к «преходящему», а разве не «преходяще» пребывание Анарха в роли короля и не призван ли он был к роли рыночного торговца? Преходящее исчезает, истинное и справедливое торжествует.

И это — пантагрюэлистическая картина. Походя, словно шутку, бросает Рабле дерзкую фразу, фразу, за которую гноили в тюрьмах

и отрубали головы: нынешние короли годны только на то, чтобы делать зло и возмущать мир войнами. Ведь в этой фразе весь смысл рассказанного эпизода, вся квинтэссенция, как любили говорить в те времена.

Роман Рабле построен на основе развития не характеров, не жизненных ситуаций, а идей. Развитие идей — вот та внутренняя связь, которая объединяет все элементы книги и делает из нее нечто целое, единое. Рабле облекал идеи в форму художественного шаржа, карикатуры, гротеска и буффонады.

Короли-великаны (Грангузье, Гаргантюа. Пантагрюэль) — это шарж, имевший народное происхождение. Рабле хотел, чтобы читатель любил его великанов, смеясь добрым смехом. Без веселости не было бы пантагрюэлизма. Мы часто смеемся над бесконечно симпатичными нам людьми, находя в них смешные черты, причем смешное и комическое в этих симпатичных нам людях еще более возвышает их в наших глазах.

Не всегда Рабле прибегает к шаржу. Чаще это бывает карикатура. Карикатурны образы королей Пикрохола и Анарха, карикатурны образы монахов, судейских чиновников, католиков и протестантов, предстающих перед читателем в облике папоманов и папефигов... Смешное в шарже вызывает чувство симпатии, смешное в карикатуре вызывает презрение.

Излюбленным литературным приемом Рабле является гротеск. К гротеску относится прежде всего фантастическая несообразность, когда одним предметам даются качества и свойства других предметов (колбасы живут, как люди; гвозди растут, как трава; замерзшие слова; фантастическое существо Гастер и т. п.).

Рабле любил прибегать к точности в деталях, и это тоже становится одним из сатирических приемов. Например, подробный отчет о том, сколько всякого добра пошло на костюм ребенка Гаргантюа, или сообщение о том, как один врач «в несколько часов вылечил девять дворян от болезни святого Франциска» (бедности). Или описание следующей ситуации, где точное установление количества сравниваемых предметов вызывает поистине гомерический хохот: «Между тем сиенец вовремя снял штаны, ибо тут же он наложил такую кучу, какой не наложить *девяти* быкам и *четырнадцати* архиепископам вместе взятым».

Часто писатель обращался к приемам излюбленных в его время ярмарочных представлений — фарса или буффонады. Здесь чисто внешний, зрелищный вид комизма (эпизод с колоколами собора Парижской богоматери).

Сравнения, метафоры, эпитеты, которые писатель использует, повествуя о жизни и приключениях своих героев, всегда увязаны с основными целями книги. Крепкой,

веселой, грубоватой шуткой он уничтожает идейных противников. Рассказав, например, о том, что ненавистные ему сорбонники дали обет не мыться и не утирать себе носа, он сообщает: «Во исполнение данных обетов, они до сих пор пребывают грязными и сопливыми». И люди, прочитавшие книгу, не могли без улыбки глядеть на важных богословов: «они сопливы!»

Тончайшим средством критики христианских канонических текстов, а следовательно, и самой религии становится в руках Рабле пародия. В первой главе книги перечисляются имена пятидесяти девяти королей, совсем так же, как в Библии имена иудейских патриархов и царей (Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и т. д.). Зачем понадобилось это писателю? Оказывается, затем, чтобы в конце главы задать читателю в самой безобидной форме опасный вопрос: «Не верится вам, что ли? Ну, и мне тоже не верится». Вы будете смеяться, разгадав тайный замысел Рабле, он же с притворной строгостью прикрикнет на вас: «Перестаньте же хихикать и помните, что правдивее Евангелия ничего нет на свете». Мы эту фразу взяли из другого места книги, но не нарушили логическую связь мыслей писателя.

Издеваясь над средневековой наукой, над богословскими и юридическими сочинениями, обильно уснащенными цитатами и ссылками на античные авторитеты или Священное

писание, Рабле неоднократно пародирует манеру «ученых» рассуждений, однако сами по себе встречающиеся в романе ссылки и цитаты (точнее — большая их часть) свидетельствуют о громадной начитанности писателя.

Многочисленные каламбуры, игра слов — все направлено у Рабле к одной цели. Слово gentilhommes — дворяне, он переделывает на gent-pille-hommes, и дворяне уже предстают как грабители (русский переводчик нашел этому остроумную параллель — «д-ВОР-янчики»). Даже имена святых служат на страницах романа Рабле развенчиванию церкви и религии. Такова святая Нитуш (святая Недотрога). Клятвы, ругательства с упоминанием различных святых в устах его героев выглядят также отнюдь не благочестиво.

Рабле не лиричен. Чувствительность чужда его таланту. Он бывает серьезен, иногда трогателен, когда рассказывает о «простодушии исполненном облике» своего Гаргантюа, когда говорит о печалях народных, но он спешит отогнать от себя набежавшую грусть и снова веселой шуткой смешит своего читателя. Однако Рабле поэт. Его мысль, его образы достигают порой эпического величия. Проза его иногда приобретает четкий ритм, он использует звуковую окраску слова (см. великолепное описание бури в XVIII главе книги Четвертой).

Рабле часто непристоен. Чернышевский в статье «Возвышенное и комическое» писал:

«У Гоголя находят много цинизмов; но цинизмы его еще очень благопристойны в сравнении с тем, что находим у Рабле, Сервантеса, Шекспира и даже у Вольтера».

Рабле непристоен нарочито, непристоен из гневного протеста против церковного аскетизма и ставшей фальшивой фикцией в руках средневековых тартюфов морали. Гуманисты, люди большой культуры и самых возвышенных представлений о прекрасном в искусстве и в жизни, не боялись «цинизмов», пугавших стыдливых рецензентов, от которых в прошлом веке Чернышевский вынужден был защищать даже нашего скромнейшего сравнительно с Рабле и Боккаччо Гоголя.

Рабле любит пародию. Он пародирует схоластический богословский трактат, прибегая к обширным цитациям из Священного писания, пародирует Библию (родословная Гаргантюа), пародирует рыцарский роман (история рождения, воспитания и странствий героя), пародирует различные формы и жанры средневековой клерикальной литературы (Эпистемон в аду и пр.). Иногда, впрочем, грань между пародией и стилизацией настолько тонка, что не знаешь, где кончается шутка и начинается серьезное. Текст превращается подчас в уморительную головоломку, и чем больше читаешь, тем больше предоставляется пищи для размышлений. Книгу Рабле нельзя просто прочитать, ее нужно читать,

и не один раз, вдумываться, входить в интимный мир автора. Она подобна симфонической музыке. Чем больше ее слушаешь, тем больше она говорит уму и сердцу. Кстати, Рабле, пожалуй, первый из прозаиков Франции обратил внимание на музыкальную сторону слова. Слово его поет. В звуке скрыт особый смысл. Здесь тоже головоломка, загадка. Брат Жан называет свое идеальное «государство» — Телема, Пантагрюэль и его спутники отправляются в дальнее плавание на корабле «Таламега». Что это, случайное звуковое сходство? — У Рабле все с умыслом. Поразмышляйте, читатель,— может быть, и нападете на мысли о том, что шутники-то едут искать «желанного», искать счастья, идеального общества, свободного от пороков и зла. И возглавляет этот поход Пантагрюэль («Всежаждущий»), жаждущий знаний (ведь только разум и знания приведут человечество в мир счастья, по идее гуманистов), и Божественная Бутылка скажет: «Тринк» — звукоподражание. Ударьте палочкой по стеклянной посуде, вы услышите этот звук. Но вместе с тем это значит и «пей!». И жрица растолкует: пей знание, мудрость, силу. Путники не нашли «Телему», но они ее найдут, в этом нет сомнения, ибо они услыхали великое «пророчество» — пейте знания, мудрость, мужественную силу, они укажут вам путь к «Телеме».

Как бы далеко ни опережали гуманисты свой век, как бы рьяно ни бичевали слабости и пороки века, предрассудки современников довлели и на них. Раскрывая книгу Рабле, мы не можем не ощутить атмосферы средневековья, в которой жил, которой дышал автор.

В его дни над морем почти всеобщей неграмотности, невежества поднималась маленькая кучка книжников — монахов, университетских профессоров. Эти люди витали в эмпириях схоластической науки, занимались казуистикой богословских споров, что-то читали, что-то писали сами в полной уверенности, что все написанное ими важно и необходимо. Простому человеку, даже и обладавшему кое-каким образованием, их трактаты были непонятны, как знаки иноязычной письменности. Эта кучка книжников враждовала с гуманистами, подлинными творцами культуры. Гуманисты издевались над их псевдоученостью, над самим тяжеловесным их образованием. Но взгляните на книгу Рабле, как похожа она внешне на тяжеловесный богословский трактат, как перегружена ссылками на античные и средневековые имена и сочинения, а также обширными цитациями на греческом и латинском языках. Это, конечно, пародия на средневековую книжность, но пародия, доступная пониманию немногих. Не случайно уже давно начали всячески «облегчать» книгу Рабле.

В 1752 году аббат Марси напечатал ее в Амстердаме «для широкого круга читателей». В 1865 году Анри де Фонтвине — «Рабле для всех». И, наконец, совсем недавно, в 1947 году, Морис Рат издал Рабле на современном французском языке.

Книга Рабле построена на аллегориях. Иногда эти аллегории имеют двоякий, троякий смысл. Аллегория — излюбленное дитя средневековья. Церковники, не зная иногда, как объяснить буквальный текст Ветхого завета, изыскивали таинственные намеки в «священных письменах» Библии. Как скрыть пьянящий аромат сладострастия, исходящий от Песни Песней? Как затушевать картины чувственной любви? На помощь приходила аллегория. Это не о той любви, плотской и греховной, поет Соломон, говорили церковники, ищите тайну священных письмен!

Поэма Данте в звучных терцинах несла загадочную, почти непостижимую аллегорию. Беатриче как будто и женщина, но, может быть, и совсем не женщина, а символ божественной чистоты. Вергилий — может быть, и просто римский поэт, сошедший в христианский ад, чтобы побродить там вместе с Данте, а может быть — разум. Дремучий лес — может быть, и лес, а может быть, и сама человеческая жизнь, и т. д. и т. п. Знаменитая философская поэма средневековья «Роман о Розе» целиком собрана из аллегорий. И роман Рабле, подобно калейдоскопу, при каж-

дом новом взгляде читателя раскрывается новым цветком аллегорий.

С Пантагрюэлем и его спутниками беседует Энтелехия. В переводе с греческого — значит «Совершенство». Кто это? Женщина? — Нет, философский термин. Юная красавица (ей ведь всего только тысяча восемьсот лет, как раз столько, сколько отделяет век Рабле от века Аристотеля) питается антитезами, категориями, абстракциями и ничем другим. Рабле осмеивает увлечение своих современников идеалистическим суемудрием. Но этим не исчерпывается аллегория. Нужен целый трактат, чтобы рассказать современному читателю о всех гранях его многообъемной символики.

Рабле воевал со средневековьем, пользуясь его же оружием. Гротескные символы Рабле напоминают подчас особый вид орнамента, со странными диковинными переходами одного вида животных в другой, с причудливым сочетанием несообразностей.

Создатель «Гаргантюа и Пантагрюэля» поистине может почитаться одним из основателей французского литературного языка. Сенеан, автор двухтомного исследования «Язык Рабле», пишет: «Иностранные обороты, классические языки, языки Возрождения, французский язык всех времен и всех провинций — все здесь нашло свое место и свою форму, нигде не производя впечатле-

ния какой-либо несвязности или несоответствия. Это всегда язык самого Рабле».

Возрождение принесло французскому народу новые знания, новые понятия, которые не имели еще в народном языке своего наименования. Необходимо было расширить сферу языка. Используя языки классической древности, Рабле ввел в обиход ставшие теперь международными следующие термины: энциклопедия, катастрофа, категория, сарказм, прототип, аналогия, экзотика, параллельный и другие. Мы не приводим здесь слов, вошедших в фонд только французского языка.

Содействуя формированию общенационального единого языка, Рабле использовал язык провинции, диалекты, архаизмы, приобщая их к новой жизни. Не все было принято народом, но многое осталось, вошло в повседневный речевой обиход, стало национальным.

Рабле любил само слово. В нем жил и писатель и лингвист. Иногда он, увлекаясь, забывал о том, что, собственно, хотел сказать. Слово уводило его в сторону, он любовался им. Оно сверкало, звенело, открывалось умственному взору все новыми и новыми сторонами. Анатоль Франс восхищался этой влюбленностью писателя в слово: «Он пишет играючи, словно забавы ради. Он любит, он боготворит слова. До чего же чудесно наблюдать, как он нанизывает их одно на другое! Он не может, не в силах остановиться».

Рабле сыграл огромную роль в истории общественной мысли Франции. Уже современники его видели в нем выдающееся явление своего века. Имя его стало популярным в народе, с ним связывали различные легенды и антиклерикальные анекдоты.

Рабле незримо присутствует во всех значительных произведениях французской литературы последних четырех столетий. «Рабле — наш общий учитель»,— признавался Бальзак. В несравненных по мастерству «Озорных рассказах» он шел от своего «достойного соотечественника, вечной славы Турени — Франсуа Рабле».

Грандиозная тень Рабле зрима и в «Острове пингвинов» Анатоля Франса, и в «Кола Брюньоне» Ромена Роллана.

Рабле глубоко национален. Это француз до мозга костей. Он много подшучивает в своей книге над соотечественниками, но он их любит. Они «по природе своей жизнерадостны, простодушны, приветливы и всеми любимы». И он сам такой же. Может быть, эта его национальная самобытность помогла ему стать писателем общечеловеческого масштаба. Кто же из образованных людей мира не знает сейчас Рабле? Правда, он почти не переводим на иностранные языки. Его игра со словом, его умение находить в слове десятки смысловых оттенков, столбцами выписывать эпитеты, строить из них шутовские парады ради озорства гения, которому ничего

не стоит переворошить многотысячный лексикон, чтобы мгновенно найти искомое слово,— все это создает почти непроходимые преграды для переводчика. Надо очень хорошо знать богатства своего родного языка, чтобы найти в нем соответствующие параллели.

Русская переводческая школа совершила поистине чудо — в 1961 году роман Рабле был опубликован в прекрасном переводе Н. М. Любимова. Рабле стал почти русским. И это отрадно, потому что Рабле по духу, по всему миру своих идей близок нам.

В 1532 году в «Пантагрюэлистическом пророчестве» Рабле писал: «Величайшее безумие мира считать, что звезды существуют лишь для королей, пап и больших господ, а не для бедных и страждущих».

Звезды для бедных и страждущих! Это то, во имя чего мы трудимся. Как же мы можем не ценить человека, который из дали веков говорит нам свое «да!», и этот человек к тому же гениальный писатель, создавший бессмертное произведение искусства!

КРАТКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, перевод с французского Н. Любимова, Гослитиздат, М. 1961.

Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, перевод В. Пяста, Гослитиздат, Л. 1938.

«История французской литературы», т. I, изд. АН СССР, М. — Л. 1946, стр. 249—268.

Е. М. Евнина, Франсуа Рабле, Гослитиздат, М. 1948.

Л. Пинский, Смех Рабле, в книге: «Реализм эпохи Возрождения», Гослитиздат, М. 1961.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга чудес 5
Искатель мудрости 17
Весна человеческого разума . . 48
Великая энциклопедия 71
Искусство Рабле 125

Краткий список литературы 151

Сергей Дмитриевич Артамонов
ФРАНСУА РАБЛЕ

Редактор *С. Гиждеу*. Художеств. редактор *Г. Андронова*
Технический редактор *М. Позднякова*
Корректор *М. Фридкина*

Сдано в набор 24/III 1964 г. Подписано к печати 8/VI 1964 г. А02174. Бумага 70×90¹/₃₂—4,75 печ. л.=5,55 усл. печ. л. 4,62 уч.-изд. л. Тираж 10000. Заказ № 605. Цена 19 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б—66. Ново-Басманная, 19

Сортавальская книжная типография Управления по печати при Совете Министров КАССР
г. Сортавала, Карельская, 42